

АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«РУССКИЙ БУКЕР»

крестьянин  
и тинейджер

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ



Собрание произведений

Андрей Дмитриев

**Крестьянин и  
тинейджер (сборник)**

«WebKniga»

2014

## **Дмитриев А. В.**

Крестьянин и тинейджер (сборник) / А. В. Дмитриев —  
«WebKniga», 2014 — (Собрание произведений)

«Свод сочинений Андрея Дмитриева – многоплановое и стройное, внутренне единое повествование о том, что происходило с нами и нашей страной как в последние тридцать лет, так и раньше – от революции до позднесоветской эры, почитавшей себя вечной. Разноликие герои Дмитриева – интеллектуалы и работяги, столичные жители и провинциалы, старики и неоперившиеся юнцы – ищут, находят, теряют и снова ищут главную жизненную ценность – свободу, без которой всякое чувство оборачивается унылым муляжом. Проза Дмитриева свободна, а потому его рассказы, повести, романы неоспоримо доказывают: сегодня, как и прежде, реальны и чувство принадлежности истории (ответственности за нее), и поэзия, и любовь» (Андрей Немзер). Во вторую книгу вошли повесть «Призрак театра», романы «Бухта радости» и «Крестьянин и тинейджер». Решением жюри конкурса «Русский Букер» «Крестьянин и тинейджер» признан лучшим русским романом за 2011 и 2012 годы. Роман удостоен также премии «Ясная Поляна» и вошел в короткий список премии «Большая книга» (2012).

© Дмитриев А. В., 2014

© WebKniga, 2014

## Содержание

Призрак театра	5
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Андрей Дмитриев

## Крестьянин и тинейджер

### Призрак театра

#### *Повесть*

По вечерам нам нужно жить и радоваться; ночами нужно спать. Вечерняя репетиция, переходящая в ночную, это измывательство, измор, но я вынужден, и выбора у меня нет. Мовчун сказал, что я на договоре, но договор со мной пока не будет им подписан. Пока я должен буду год пахать в неопределенности, на голых нервах, совсем не пить, «а там посмотрим». То есть не я посмотрю, а он посмотрит, но это мы еще посмотрим, кому смотреть.

Любой режиссер – бонапарт, сказал мне один сценарист. Так это кинорежиссер. Сидит себе на барабане: «Массовка пошла! Танки пошли! Кавалерия пошла! Самолеты пошли! Батарея – огонь! Из всех стволов – пли! Пара на заднем плане – целуется!». Театральный режиссер, по моим многолетним наблюдениям, не бонапарт, а метрдотель (Мовчун говорит «метротель», я его раз поправил – теперь вот год не пить и без контракта): «Какходишь?.. Как выходишь?.. – и все своим унылым, насморочным голосом. – Как держишь ногу?.. Как держишь паузу?.. Как держишь поднос? Разве Фирс, профессионал, – он так держит поднос?». Не люблю я Чехова. Не самого Чехова, но морду, какую надо надевать, произнося на людях слово «Чехов».

Ну, Фирс. Играл я Фирса и поднос носил. А много слов у Фирса? Много ли смысла в его подносе? Много ли смысла в лакейских его словах? С какой, однако, мордой давал я интервью: как я играл этого Фирса; как его на даче заперли и там забыли! Правду сказать, теперешняя роль – она ничего себе, ничего... Почти ничего, но уже и кое-что: две сценки, во второй – целый монолог; и так здорово написано, что даже учить не пришлось, все запомнилось само, с первой читки, как детский стих. Автор многообещающий. Пусть и не мне обещает, пусть его пьесы, когда ему фишка выпадет, Машков с Безруковым будут играть, и пусть в наш павильон он тогда уже и не сунется, и разве что по доброй памяти не поторопится плюнуть на нас со своей высоты, но мне приятно быть в числе свидетелей и соучастников его дебюта. Роль у меня – Торговец оружием, причем не араб и не кавказец, а наш, родной, и в этом соль. Демоническая личность, что-то вкрадчивое, и не злодей: у него тоже есть своя правда. Одного боюсь: Мовчун велит комиковать. Он любит, когда второй план комикует. Смешное помнится на расстоянии, так он шутит. То есть вторые роли зрителю запомнить легче, когда они смешны, так он считает. А я считаю, ему бы в цирке работать. Он путает второй план с интермедией, вторые роли – со вставными номерами. Он попросту не знает, что делать со вторым планом, и никогда не знал. Еще в училище, мне говорили, ему об этом говорили, а он – что? Морду наденет, вскинет ее: «Мне нравится!», что означает: «Все – дураки, а я гений»...

Надо отвлечься. Нельзя мне перед репетицией думать о репетиции. Вот не спросил у Мовчуна, начнет ли он платить за репетиции. Я дожил: я и об этом не спросил; такая в жизни полоса. Возьмите у меня интервью и задайте мне, немолодому уже человеку, всего один вопрос: почему наш актер пьет и часто спивается? И я отвечу, как смогу, коротко.

Итак, вопрос: почему мы, актеры советского, теперь российского театра и кино, многие спились? Вот мой ответ: потому что нельзя нам было безнаказанно и без последствий для душевного здоровья из года в год играть идиотов: «Товарищ Сергеев! Товарищ Журбин! Как

у тебя со встречным планом? Неужто некого бросить в прорыв? Как на это посмотрят товарищи по ячейке? Как на бюро райкома поглядят на твои аморальные отношения с товарищем Фиалковой на общем фоне невыполнения и на глазах у коллектива? И ты – не кукусь, не скрывай! Тебя девчата видели с ней в плавнях! Верно, девчата? (Те, мелодично: “Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!”)». Теперь задайте мне второй вопрос: почему мы, уж очень многие актеры советского театра и кино, так славно начинали – и так конфузливо и суетливо, словно стыдясь себя, заканчиваем?.. По той же самой причине, таков мой честный ответ. Нельзя годами играть идиотов, придуманных идиотами. Профессия этого не прощает: ей вдруг делается противно, и она уходит. «Неужели не удержите переходящее? То-то, товарищ! Взял знамя – держи его! Крепче держи, не отдавай никому! Ты только представь, товарищ, какая замечательная жизнь скоро наступит! Ты же мечтатель! И вы, девчата, вы представьте (те, колокольчиком певучим: “Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!”)! Представили? То-то, гляжу, у вас слезинка! И лучики в глазах! А вот смешинка! Вот и лукавинка, ты глянь, дорогой ты мой человек! Спасибо тебе, товарищ! Дай пять! Удачи, товарищ! И помни, товарищ: с размаху, молотом – и по кувалде! И по кувалде! И по кувалде!».

Кому-то повезло, попал к умелому метрдетелю, культурным бонапартом был подхвачен, и – роли: тот же Чехов, тот же Горький, да тот же Зорин и Вампилов; вот это роли, это рост; а если кто и пил, как все, то, ясное дело, бросил... Везло ли мне? Мне шестьдесят шесть лет; играл недавно Фирса, играл Молчалина однажды, играл в «Транзите» Караваяева, играл другие роли на театре, играл в кино: все больше комсомольцев, коммунистов, бывало, что и мудрых следователей («Ну что ж, беги, Хрипун, беги, коли сбежал, но помни: от меня убежать можно, от себя – никогда!») и получил заслуженный итог: на облужганной подсолнухом электричке еду в Саванеевку, во временное место дислокации театра «Гистрион», на вечерне-ночную репетицию, за которую мне вряд ли кто заплатит. Мовчун говорит: ему Лужков обещал помещение внутри Бульварного кольца. Ну, не в смысле Лужков, – но один такой человек, который к Лужкову дверь открывает ногой. Что ж, исполать, а то мне каждый день на электричке – не по годам, да и не по таланту.

Талант, какой-никакой, есть. Не везло мне, не скрываю, но то издержки профессии, в ней не везет большинству. Шестьдесят шесть – не старость, еще и силы могут расцвести, и фишка выпасть, я знаю много таких хороших примеров. Но – не верю! Почему-то я не верю, что Лужков даст помещение. «Держи карман, не Мейерхольд, на всех не напасешься», – вот что нам скажет мэр и будет прав. Даже если мой Торговец оружием станет событием – ну для кого? Даже если Мовчун вдруг мысленно увидит меня в хороших будущих ролях и даже если, собираясь ставить Лира, он вдруг возьмет меня на Лира, и я, даст Бог, не оплошаю – кто мне в ладоши будет хлопать? Столичный зритель в павильон не ходит, театровед на электричке в глушь не ездит; возможно, Мовчуну удастся заманить к нам на премьеру телевидение. Не то чтоб, в смысле, Телевидение, – но, да, один такой телеканал...

...Узоры-2 и дальше Саванеевка: там выхожу, и радость чувствую, и предвкушаю, и было так со мной всегда перед началом репетиции: всегда и радость чувствую, и предвкушаю – хотя, казалось бы, ну что тут нынче предвкушать? Приду я в павильон, топить еще не начали, Мовчун не скажет мне: «Дыхни», но ведь принюхается! Он виду не подаст, что он принюхался, но я не лох, я ж вижу: он принюхивается! Я, ясно, сразу злюсь, в роль с ходу не войду, в образ никак не попадаю, ну а Мовчун... Мовчун, пусть молча, а кричит!!!

Нельзя нервировать себя перед репетицией. Нельзя мне перед репетицией о ней думать. Иначе ты не донесешь себя, все расплескаешь и только зря всего себя измутишь.

В окне темнеет; в октябре темнеет быстро; вот саванеевские гаражи: длинная, на две минуты хода электрички, сплошная линия гаражных серых будок из силиконового кирпича и надпись бурой краской по всей линии, чтоб пассажиры электричек, все те, что с левой от

столицы стороны, могли читать ее подольше – огромными, под крышу гаражей, по букве на гараж, и аккуратнейшими, знать, по трафарету сделанными буквами:

«СОВЕТНИК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ КРАСНОСМОРОДЧЕНКО В. И. – ПЕДРИЛЛА, ВЗЯТОЧНИК И МРАЗЬ».

На слове «МРАЗЬ» должны включиться тормоза, и точно – тормозим, вагон подергивает, стук на стыках реже, последний перед остановкой жалостливый стон колес – все, братцы, встали. Вставай, душа моя (так я себя зову не вслух), спешу на выход; выйдешь – можешь не спешить.

Я не опаздываю никогда, я никогда не тороплюсь, я на вокзал, на встречу, на прием, на Спартак приду за час, а на спектакль – за два. Сегодня нам назначено на семь, и на моих – шесть с малыми минутами, на станционных, что над кассами, шесть двадцать – эти врут. Но даже если бы не врал: идти неспешным шагом через лес – минут пятнадцать. Кто не торопится, тот успевает, сказал мне один сценарист. Он, видит Бог, опаздывает всюду, но преуспел и впрямь, чего я о себе сказать бы рад, да не могу. Я как-то указал ему на это. В ответ он вспомнил чью-то мудрость: «Когда ты видишь: опоздал, – полезно замедлить шаг». Вот-вот, ответил я ему, я замедляю шаг, но, как ни медлю, удача успевает увильнуть. Неспешным шагом прихожу за час и – поздно: след ее простыл, разве махнет хвостом издали, мол, «я другому отдана». Ошибка найдена, обрадовался он. Секрет не в том, чтобы неспешно приходиться за час, а в том секрет, чтоб не бояться опоздать. Да, да, выходишь не за час, а за минуту; и, зная точно: опоздал, – не паникуешь, а, нарочно замедляя шаг, идешь куда и шел, допустим, на вокзал... Да, поезд твой уже ушел, зато удача, очень может быть, тебя нарочно поджидает на пустом и одном тебе оставленном перроне... Тут он подумал, отпил и напомнил с грустью: «Со мной всегда так и бывало». Потом еще подумал, пригубил еще чуть-чуть и мне в лицо сказал: «Быть может, дело в том, кого, однако, ждут. Иного будут ждать и час, и два, и три, и сколько он ни пожелает, другого ждать не станут ни за что, даже обрадуются». Намек я понял, пусть намек и был абстрактный. На этом мы рассорились; который год руки не подаю. А ведь напрасно, прав был сценарист. Меня давно, как я бы ни боялся опоздать, никто не ждет, да и Алина Николаевна, при всей ее барсучьей ревности, не ждет: за стол садится без меня; я точно знаю: утром приплетусь, измученный, к нам на Азовскую – и что услышу с кухни? «Я уж позавтракала, есть хочешь – разогрей...»

«Никто не ждет» – зачем я лгу своей надежде? Затем и лгу, чтобы она, моя надежда, не слишком рано распускала хвост. Я лгу себе, чтобы не сглазить. Вчера, как только Фимочка меня спросила после репетиции, буду ли точно завтра (то есть нынче), а я ответил: «Точно буду»; когда она в ответ сказала: «Буду ждать вас», – я, чтобы не сглазить смысл, услышанный вдруг мной в ее ответе, и бровью не повел, я даже самому себе старался не признаться, что я услышал, я изо всех сил внушал себе: она волнуется по долгу службы, придут ли все на вечер-ночь. По долгу службы, только и всего, но следует признать: пока я тратил силы на то, чтоб не поверить и чтобы, стало быть, не сглазить – во мне надежда пела, токовала, как тетерка, и до сих пор еще, как я бы на нее сейчас ни цыкал, чтоб не сглазила, – токует, и поет, и распускает перья...

Хорошо не спешить. Курнуть на лавочке дешевых сигарет, каких не пробовали те, что выстроили там, на поле за путями, коттеджи с башнями и флюгерами, в пять этажей, с колоннами; венеры и давиды голые из мрамора на крышах, в нишах, на террасах, и окна не горят нигде. Ужасный стиль, ужасные сердца. Как можно строить мавританский замок среди подмосковных нищих дач? И чтоб давиды и венеры впустую пялились на елки и осины! Как им самим, тем, что не пробовали «Приму», не жутко жить в нагромождении замков и дворцов из всех

эпох и стран, из подростковых снов, диснеевских мультяшек, из сладко-вычурных фантазий, в шанхаях бунгало, шале, палатках и кремлей, лепящихся один к другому теснее, чем на пне опята? Вот наворочали: кто в лес, кто по дрова, окно в окно, забор к забору, не продохнуть! Такое видел я на кладбище в предместье Барселоны. Что ж, там, на кладбище, уместно: те надгробные дворцы – для мертвых, для того, чтобы живые удивлялись тем дворцам со стороны; и я дивился, спору нет, но чтобы внутрь меня или других тянуло – брр, никто пока не рвется...

Хотя, возможно, многие из них и пробовали «Приму», те, кто по зонам нагулял авторитет – прежде чем выйти и наворочать на мавританский замок. И я на них не злюсь, я перед ними – пас, поскольку не сидел и в этой роли не могу себя представить, так это страшно.

Пожалуй, с разговора о дешевом табаке завяжется наш с Фимочкой желанный разговор. «Зачем вы курите такую дрянь перед работой, Шабашов? Вы дышите своей махрой всем в лицо на сцене! Партнеров это беспокоит». Не самое приятное начало, но, препираясь с нею, можно длить и длить общение, а после уступить, и извиниться от души, и улыбнуться вдруг тепло, и перейти на что-нибудь хорошее, сказать приятное и заинтриговать, и, прежде чем Мовчун всех призовет на сцену, закрепить сложное впечатление и исподволь внушить, что продолжение разговора неизбежно.

Фимочка – наша заведующая труппой; она же и помреж; она, по сути, и директор, хотя директором себя считает, да им и числится формально, режиссер Мовчун. Ей двадцать пять, на сорок лет меня моложе. Бывал я хват, а с ней робею, я даже комплимент боюсь сказать – а ну как он получится развязный?.. Она собою сильно хороша и начинала, что естественно, актрисой, но скоро стало ясно всем: живые люди ей намного интересней, чем придуманные, организаторский талант у ней повыше, чем актерский, ум у нее не артистически-мечтательный, а деловой и воля мощная – ну как ей подчиняться прихотям метрдотеля-режиссера! Ей на роду написано – не исполнять, а управлять. Я верю: не пройдет и двух сезонов, как она примется рулить не «Гистрионом» Мовчуна, а чем-нибудь и впрямь внутри Бульварного кольца! Или заделается антрепренером, или создаст свое агентство, свой фестиваль наладит, но театру не изменит никогда! Я слышал от Линяева, ну, от того, что жалуется ей на мой табак: ей предлагали, и не раз, уйти во МХАТ и чуть ли не сменить директора «Ленкома», и непонятно, отчего она ответила отказом, предпочитая прозябать в мовчунском павильоне... Это Линяеву, болвану, непонятно! Я ж не дурак, я понимаю и отдаю ей должное. Она не может кинуть нас, пока не выберемся мы из павильона, пока мы не расправим плечи! Она не может бросить дело, за которое взялась, на полдороге. Она физически проигрывать не может – вот оттого ее и требуют во МХАТ!..

Уйдет она – и я уйду. И, ежели права моя надежда: вчерашние слова «Я буду ждать вас» – не по долгу службы, но из сердца, я буду с ней повсюду: да хоть сторожем во МХАТе, хоть буфетчиком в «Ленкоме», хоть псом на коврик в дверях, а если сглазила надежда, обозначась, – уйду вообще, уйду куда глаза глядят, но я с Алиной Николавной не останусь...

Стоп, стоп, курнем вторую сигаретку; зачем я так с собой? «Буфетчик», «сторож», «пес» – согласен, что на это я согласен, но если б я годился только в сторожа и если б выглядел, как пес, моя надежда перья б не пушила! Талант, я повторяю, есть. Осанка – не сутулая, и голос бархатный по тембру, и не дурак, и вот, совсем не пью (хотя б за то спасибо Мовчуну), и внешность – с сединой, со сдержанным намеком. Когда был молодым, в училище и после, – я мордой и повадкой кругленький был, сладенький, при росте в метр девяносто; девицы млели; вспоминать противно. С годами внешность возмужала и обрела черты породы, благородства, могу играть хоть лордов, хоть дворецких. Меня любили раньше дурочки, простушки да резвухи – теперь льнут женщины со вкусом и умом. У Фимочки – и вкус, и ум, но слишком, слишком молода.

Ну почему она не старше? Ну почему не сорок ей, не пятьдесят? Ну почему не семьдесят? Я ведь не то чтобы молоденькой увлекся – я человека полюбил! (Я будто слышу: «Как же,

человека! А грудь у человека? Неужто не хотелось тихо сзади подойти и ласково обнять ее за грудь?». Что спорить с пошляками! Я, чтоб не спорить, и не отрицаю ничего. Я б обнял.) И мне неважно, сколько ей сейчас. А ей как раз, быть может, это важно. Быть может, для нее я – и старик... Я не имею права медлить с главным разговором. Пока никто за ней не приезжает на машине, никто не присылает ей цветов. Пока она ни с кем не точит ласковые лясы по своему мобильнику, прикрыв его ладошкой, но только – громко, четко! – о делах. Пока у нее нет никого, и это точно, иначе бы все знали. Но страшно, страшно хороша! Однажды этакий такой какой-нибудь подрулит к павильону, из «мерседеса» выползет, выползень, с букетом орхидей – и лучше бы тогда мне сразу сдохнуть!..

Там, на испанском кладбище, зажглось одно окно. Душа, молчи, умолкни, не зуди! Шесть сорок три минуты – на моих часах и семь с минутами на тех, что врут над головой; пора.

То не душа, как он подумал было, смолкла – то шум в душе умолк и зуд утих. Душа, наоборот, заговорила, но о своем – и на своем бессловном и безмолвном языке.

А что есть разговор души, когда она не трудится? Или когда не рвется ввысь, домой?

Подробная приязнь к земной юдоли, только и всего.

О чем она приязненно бормочет, пока влюбленный Шабашов, не торопясь, шагает по тропинке через лес?

О том, что видит, и о том, что одобряет.

Перевожу на шум; за точность не ручаюсь: «Вот мелкий лес в вечерней и прозрачной тьме. Тропинка всхлипывает и скрипит под защищенной кожей быка стопой моей влюбленной оболочки, что неопасно зябнет в оболочках из замысловато пестрой, дивно прочной нити хлопка, из толстой, теплой нитки шерстяной, из нити той, что пряли в преисподней, и прозванной чудесно синтепон, обвернутой другой, суровой нитью из тех же огнедышащих миров, куда мне для моей же пользы и спасенья ход заказан, и я могу лишь восхищаться именем той нити: полиэстр, ее умением отталкивать потоки вод, что то и дело льются с тех высот, где ждет меня мой милый дом. Вот дерево. Ворона грузно перепрыгнула с сосны на гнутую березу; та на мгновение еще согбенней стала, но через миг, упрямо фыркнув прутьями с остатками листвы, вновь попыталась стать прямой. Вот свет луны, пока еще неяркой и прозрачной. Вот вспыхивает лужа. Вот в луже, словно звезды Млечного Пути, дрожат, мерцают и плывут листья берез, осин, и лип, и старых вязов. Кусты качаются и трутся о стволы. Стволы шатаются под тяжестью небес, под тяжестью вечерней тьмы спустившихся на кроны. Всего лишь мелкий, редкий подмосковный лес при станции, но как он полон всею полнотой земли! Как хорошо, что оболочка влюблена: от той любви и мне перепадает! Свет фонаря рассеял лунный свет. И странный гул раздался в вышине. Там, в невысокой вышине, переплетаясь, висят и тянутся во тьму стальные нити и пропускают сквозь свои волокна дрожь, и эта дрожь страшит меня, быть может, оттого, что чую, что моей влюбленной нервной оболочке совсем не по себе под этой дрожью, этим гулом. И вновь во мне, глуша меня, вздымается, как злые дрожжи, шум. И вновь, спасаясь от него, приходится уснуть».

Душа уснула, уступая место страху. Где обрывался лес, толпились и брели по всем дорогам, да и дорог не разбирая, стойки ЛЭП; невысоко над головой висели толстые стальные провода, они переплетались, разлетались и текли по разным направлениям. В них постоянно слышался опасный зуд; бывало, Шабашов вдруг чувствовал, как электричество, сочась сквозь влажный воздух, бьет больно в кожу вроде пистолетика из детства, того, похожего на карандаш, с короткою иглой, которым брали кровь из пальца на анализ. Шабашов боялся ходить под проводами, боялся очутиться под ними в дождь или, тем более, в грозу, но сильнее всего боялся проходить мимо ворот и вдоль бетонного забора распределительной подстанции: там то и дело перещелкивали напряжение или там что-то делали еще – но это всякий раз сопровождалось подобьем выстрела из пушки, столь громким, что вороны, надсадно кашляя от перепуга, раз-

летались по округе, в далеких садоводствах принимались выть собаки, и душа, не просыпаясь, уходила в пятки.

«Ох, не хотел бы здесь иметь участок, – в который раз подумал Шабашов, шагая вдоль бетонного забора и убыстряя шаг, – здесь слишком много тока в проводах; магнитное, иль как там, поле кошмар что может сделать со здоровьем человека, и я не верю в безопасность огурцов, которые растут на здешних огородах!..» Когда-то Шабашов владел хорошей, доставшейся еще от деда-генерала, дачей в Кратове – пришлось отдать ее после развода второй жене, Ларисе, иначе та грозила отсудить квартиру на Азовской. «Уж лучше б отсудила», – в который раз сказал он сам себе, когда забор подстанции остался позади и по обеим сторонам тропинки пошел штaketник, сетка-рабица пошла, горбыль оград садового товарищества «Луч», и все, что он сказал себе затем, было затвержено, замылено, как роль, и принималось всякий раз звучать в уме, как только оставалась позади подстанция: «Жил бы на даче, в соснах, в тишине, не пил бы, потому что не хотел бы, и думал углубленно б о театре, читал бы книжечки и не женился б ни за что я на Алине Николавне, поскольку вряд ли бы тогда узнал ее вообще. На сэкономленные трезвой жизнью деньги купил бы “жигули” седьмой модели, чтоб ездить на работу и обратно, и, очень может быть, сосредоточенность, размеренность и трезвость задобрили б удачу-госпожу: не по песку под проводами шел бы нынче, а по Бульварному кольцу – на шум охотников за лишними билетиками, в предчувствии аншлага, в предвкушении и радости, и жизни, невольно вслушиваясь в шепот за спиной», здесь, как обычно, за спиной раздался пушечный щелчок подстанции; перехватило, как всегда, дыхание; как только стих переполох ворон и перестали выть далекие собаки, на Шабашова снизошло успокоение, и он в мажоре завершил обычный монолог: «Но с Фимочкой я был тогда бы только шапочно знаком и вряд ли б разглядел ее тогда... Зачем мне шепот славы за спиной – без Фимочки?.. Все к лучшему, душа моя, все к лучшему!».

Уже безоблачно насвистывая, он брел под гроздьями провисших проводов, между пустынных огороженных участков, меж луж, гравийных куч, неярко освещенных фонарями, всего двумя на весь поселок, – шел к бывшей станции юннатов, где среди аллея, тропинок, клумб бывшего ботанического сада, давно запущенного, ставшего с годами просто диким парком, стоит довольно длинный павильон из бревен, обшитых бурою вагонкой. Давным-давно, едва ль не полстолетия назад, он был построен для юннатских слетов и выставок юннатских достижений: там выставлялись кролики редких пород, с голубоватым или пестрым мехом и в красивых клетках, морские свинки в плексигласовых, прозрачно-мутных ящиках; пищали желтые цыплята, готовые клевать искрошенный желток прямо с ладони; там белка бегала в проволочном колесе, там ворон хохлился на ветке за решеткой (табличка утверждала, что ему уж лет пятьсот), там головастики, тритоны, рыбки-гуппи лениво шевелили хвостовым пером в аквариумах, а на лотках дразнили глаз и вызывали непрерывный ток слюны плоды мичуринских затей: огромные и дивно пахнущие яблоки, сочащиеся медом груши, тугие горки слив, и кукурузные початки, и пшеничные снопы; все это громоздилось в двух комнатах при входе, просторных, как музейный зал, за ними был зал актовый с рядами стульев, сценой и с окнами на север и на юг; там под портретами Лысенко, Дарвина, Мичурина, Михайлы Ломоносова, под кумачовым транспарантом над эстрадой, гласящим:

**МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЛАТОНОВ  
И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ НЕВТОНОВ  
РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ РОЖДАТЬ, —**

рапортовали юные натуралисты и получали грамоты и вымпелы из рук районного начальства. Затем юннатство захирело повсеместно. Бесхозный павильон едва не сгнил, и поразительно, что не сгорел, служа лет двадцать местом пьянки и быстреньких совокуплений, сортиром, всего чаще – сразу всем; еще и схроном беглых уроков и дезертиров из соседних воинских частей, притоном тех, кто на заре семидесятых портвейн и водку заедал таблеткой нембутала и, если выжил после тех таблеток, в восьмидесятых перешел на героин.

Тогда, в разгар восьмидесятых, и начался самозахват соседних пустошей и просек. Откуда-то взялось товарищество «Луч», нарезало себе под проводами участков по пять соток, настроило заборов, будок-дач; однажды эти будки и заборы порушил именем закона большой бульдозер; потом была борьба, суды, пикеты, и в итоге товарищество «Луч» не только узаконило свои права и выстроило новые дома, но получило в собственность и бывший павильон юннатив. Помыло, поскребло его, покрасило снаружи и внутри веселой краской, вставило стекла, заменило всю проводку; в двух комнатах, где раньше были кролики, расположило бухгалтерию с конторой; в актовом зале собиралось на собрания: раз в месяц в огородную страду и раз в квартал – зимой. В начале девяностых в «Луче» случилась паника: у садоводов вышли деньги, счета за свет, за газ и воду разом выросли и, неоплаченные, грозили штрафами, которые грозили тоже оставаться неоплаченными, и это все грозило упразднением товарищества «Луч». Тут садоводы собрались в последний раз под крышей павильона. Постановили сдать его в аренду, благо солидный арендатор подвернулся: Церковь Взыскующих, – и это разом разрубило все узлы. С тех пор собрания стали проходить на свежем воздухе, у водозаборной колонки, и не по объявлению на доске – по набатному зову кувалды, бьющей в рельс, зато в повестке тех собраний ни разу не стоял пункт о долгах.

Взыскующие многое могли по тем тяжелым временам – должно быть, взыскивали порядочные взносы.

Они, не мешкая ни дня, подняли павильон домкратами и заменили все испорченные бревна. Доселе шиферная крыша в мгновение ока стала черепичной. Взыскующие снова заменили всю проводку. Отделали все внутренние стены панелями из дуба и платана. Перестелили все полы, покрыли их фигурным ламинатом. В тех комнатах, где в баснословную эпоху были кролики, наставили компьютеров и стеллажей с портретами и книгами духовного отца Взыскующих, Яся, – он жил, как говорят, в Крыму и в павильоне не бывал ни разу, однако, судя по портретам, был человек нестарый, бритый; глаза за круглыми очками с золотой оправой глядели очень строго. Зал актовый, понятно, стал молельным. Там, говорят, вся сцена была превращена в подобье алтаря, и на молящихся глядел большой светящийся витраж – портрет духовного отца из разноцветных стеклышек: он весь переливался, говорят, и иногда из-под очков сверкало пламя. Из павильона то и дело доносилось ангельское пение, и садоводы, копошась в садах и огородах, испытывали, как они потом нередко признавались, тревогу и неясное томление. Приходил поп, ругался и ушел ни с чем. Привел казаков, те ругались и грозили мордобитием; Взыскующие заперлись и пели; тут понаехало начальство, репортеры из Москвы; казаки, грозя нагайкой всем, ушли ни с чем, если, конечно, не считать того, что оборвали по садам и огородам. Потом в Крыму арестовали за разбой отца Яся, в Москве – кого-то из Взыскующих, все прочие куда-то разбрелись, но вывезли сперва компьютеры и плиты из платана. Товарищество «Луч» лишилось верного дохода; кому ни предлагало – все арендовать молельный дом отказывались и соглашались лишь купить его навеки. И деньги предлагали все хорошие (у садоводов аж кружилась голова), но при единственном условии: сей павильон должен быть продан вместе с дивным парком. Однако парк принадлежал районной власти, и локоть укусить не удалось. Власть предложила садоводам арендатора – театр «Гистрион» Егора Мовчуна. Пусть деньги за аренду павильона Мовчун давал ничтожные, но ссориться «Лучу» с начальством не было резона. К тому ж ничтожно – лучше, чем ничто, и курочка по зернышку клюет...

«Ты, Фимочка, и только ты! Только тебе и никому другому Мовчун обязан дармовой арендой, уж я-то знаю, узнавал. По средам ездю в Селезневские, там парится со мной один блондин из мэрии; пока не понял, кто он, голого не разберешь, похоже, порученец. Он и поведал мне под мой хороший чай с медком, как ты кружила, будто чайка над волной, по всем их коридорам. Тебе помочь там не сумели, но не посмели вовсе отказать. Свели с ребятами из подмосковного губернаторства, ребята дали указание районным здешним управителям, и те, хоть и кряхтели недовольно, хоть и поругивались от досады (из рук их уходил, считай, гектар земли с красивыми деревьями), но указанье выполнили точно; теперь даже гордятся: у них есть как бы собственный театр под руководством режиссера, известного Америке с Европой!» – наполнив до краев грудь словом «Фимочка» и терпким испарением диковинных хвощей и хвой, гниющих трав, лишайников и палых листьев, завянувших цветов и мхов, невиданных во всем, наверно, прочем Подмосковье, шел Шабашов извилистой аллеей к павильону. Там, над крыльцом, горели фонари из тех, что в веке позапрошлом качались по краям карет. На травленной морилкою вагонке сверкали под подсвеченным стеклом афиши: «Вишневый сад», «Двенадцатая ночь», «Бег», «Старший сын», «Транзит», «Эта сладкая рябь океана» (то было попури из разных текстов Гришковца) – все, что Мовчун успел поставить в павильоне. Отдельная афиша имела заголовок: «Готовится к премьере», под ним – название пьесы, на репетицию которой и явился Шабашов: «При ярком свете непогоды», автор – Тиша Балтин. Поморщившись при виде слова «Тиша» на афише, Шабашов поднялся на крыльцо.

Охранник в зимнем чернильно-белом камуфляже, здороваясь, лишь молча вскинул брови: он был совсем молчун, как говорила Фимочка, из-за контузии, полученной в Ачхой-Мартане, и Шабашов не мог припомнить его имя; не он один забыл, как оказалось, все забыли, хотя сперва и знали, а Фимочку, которая ничто не забывала никогда, спросить было неловко... В двух комнатах, где раньше выставлялась живность и плоды, теперь было фойе. Там было пусто, как всегда, и люстры не горели. Из полутьмы с обрамленных латунью фотографий на Шабашова пристально глядели актеры труппы Мовчуна. С привычной неприязнью Шабашов отвел глаза от собственного взгляда (взгляд идиота; чуб болвана; отретушированное, женское почти, сурово-сладкое лицо). Как ни просил он Мовчуна повесить фотографию из поздних, с сединой, – тот обещал, да забывал иль раздраженно говорил, что дело фотографии – не Шабашова убажывать, а умилять и привлекать пришедших зрителей, хотя бы тех из них, кто еще помнит Шабашова по комсомольскому кино. Из зала доносился ровный шум немногих голосов. Шабашов шагнул к дверям, расстегивая куртку на ходу и машинально поправляя шарф из кашемира. Остановился, прежде чем войти. Чуть шевельнув губами, прошептал: «Ну, здравствуй, Фимочка».

Из всех доктрин, что изобрел его знакомый сценарист, умней других, и в этом постоянно убеждался Шабашов, была идея третьего варианта.

«Вот ты мечтаешь, для примера, роль сыграть, – втолковывал ему тот сценарист, когда они еще не разругались на почве непочтительных намеков. Тебе ее железно обещали. Но ты боишься, что в последний миг ее вдруг отдадут Линяеву. Ах, ты твердишь, сыграть бы мне Паратова и умереть! Сыграть и умереть! Только б не отдали Линяеву! Только б не отдали Линяеву!.. В итоге ты Паратова не получаешь, поскольку решено вообще не ставить «Бесприданницу». И этот, третий, вариант, заметь, тобою не был предусмотрен... Допустим, ты предусмотрительно боишься и того, что «Бесприданницу» вообще решат не ставить. Отлично, значит, ты вдруг сам откажешься от роли, поскольку психопат. Иль потому откажешься, что вдруг получишь приглашение на съемки в Голливуд. Непредвиденность – главная особенность третьего варианта. Человек предполагает: выйдет так иль по-иному. А чем располагает Бог, чтобы напомнить о себе в безбожном мире? Третьим вариантом, Дед, третьим вариантом. Вот и выходит всякий раз – не так иль по-иному, а по-третьему».

Как долго Шабашов гадал: ждет его Фимочка в особенном волнении – иль просто ждет, по долгу службы! А в зал вошел и сразу понял: там ее нет вообще. Зато нос в нос столкнулся с Мовчуном.

Мовчун, здороваясь, принялся и головою покачал:

– Что за дрянь вы курите, Дед? Дышите в лицо, партнеры жалуются.

– Замечания такого рода – прерогатива Серафимы Сергеевны; от вас увольте. Я б перешел на «Данхилл», но не по карману... Вы, Егор, к примеру, сколько платите за репетиции?

– Вот все вопросы по оплате – точно к Серафиме. Это ее, как вы выражаетесь, прерогатива... и, кстати, где она? Серафима, дайте мне мобильник! – выкрикнул Мовчун; все разговоры в зале стихли и зажужжали вновь, когда он спохватился: – Ах, черт, я ж ее сам сегодня отпустил...

– Не приболела? – полюбопытствовал лениво, как бы между прочим, Шабашов, глуша досаду, что рвалась наружу и беззвучно выла: третий вариант! Ах, снова третий вариант!

– Так, отпросилась! К ней приехала подруга, из Луги. Серафима ведь у нас сама из Луги. Повела эту Зину на мюзикл. Черт его знает, что за шоу. Вы – не ходите?

– Простите, не мой жанр.

– Петь некому, танцевать некому, оперетта лежит в грязи, а мюзиклы плодятся, как мыши. Впрочем, там настоящий самолет на сцену выезжает, такое в Луге не увидишь. Одно скажу вам, Дед. Нам бы такие деньги. Хватило б на все хроники Шекспира. На то, чтоб поменять нам место дислокации. Здесь дикое место, Дед. Пока я шел со станции, меня какая-то белесая собака схватила за каблук. Мы здесь – как в джунглях. Должны держать охранника – и не на что поставить телефон. И нечем, как вы верно догадались, платить за репетиции... Внимание всем!

Вновь в зале стало тихо.

– Серафима развлекается, единственный мобильник – у нее. Ну, хоть бы кто из вас купил себе мобильник! Я вынужден идти на станцию звонить. Увы, но это важно. Наш импресарио в гостинице «Россия» ждет моего звонка до полвосьмого. Нужны нам летние гастроли в Белграде – или не нужны?.. Все, ждите.

Мовчун исчез, шаги его в фойе затихли, и Шабашов сказал угрюмо:

– Купил бы сам себе мобильник.

Он хотел еще сказать: «Всегда звонишь по телефону Серафимы, и это для нее сплошное разорение», – но устыдился вслух произнести такое.

Белесая собака не кусала Мовчуна, он это просто так сказал; но он ее боялся. Она его встречала. Не успевал прибыть он в Саванеевку, сойти по лесенке с платформы, – она бесшумно выкарабкивалась из кучи палых листьев, отряхивалась молча и, пристроившись за ним на расстоянии двух шагов, трусила следом, дышала сипло за его спиной и отставала, лишь когда он подходил к театру. Когда он снова появлялся на крыльце и, после многочасового пребывания в душном зале, взасос тянул ноздрями воздух парка – она бесшумно отделялась от ствола березы, такого же белесо-серого, с черными подпалинами, как ее шерсть, и Мовчуну всегда казалось, что собака возникает из ствола. Он шел на станцию один – она вела его до самой электрички, опережая на два шага. Шел не один – кралась, ломая ветки, по кустам. Теперь он направлялся к станции в час неурочный, и собака была, казалось, этому удивлена.

– И нечему тут удивляться, – искательно сказал ей на ходу Мовчун, привыкший с ней без умолку болтать – из опасения, что, если замолчит хотя бы на минуту, она услышит в том молчании угрозу и в самом деле тяпнет за каблук: – Так мы живем, без телефона. А также без пошивочного цеха. И хорошо еще, тех денег, что нам пожаловал «Севптицебанк», хватило, чтоб превратить этот коровник в театральную площадку. Коробку сделали, портал, колосники, станки для кресел в зале вместе с креслами нам обошлись в десять тысяч долларов, ткань

для кулис – двадцать рублей за метр, карманы для хранения декораций, гримерку мы построили за три тысячи долларов. Когда выпиливали бревна из торца, чуть не обрушили весь сруб, ну, укрепили за пятьсот. Заделали оконные проемы: шесть окон, по три с двух сторон зала, сотня за проем. Проводку поменяли, как положено, и оборудовали свет. Приличное фойе оформили, всего лишь десять тысяч долларов, художник умудрился извернуться. Поджались, уложились... А как же стоимость спектакля, даже одного, где лишь костюмы вылетают в тысячу долларов и столько же идет на декорации? А как зарплата? Как платить актерам (они же монтировщики), как – содержание охранника (он же пожарный); как – уголь для котельной? Как жить при общем годовом бюджете из казны в двадцать тысяч рубликов? Не долларов, а рубликов, собака!.. А так: иди и каждый раз проси, чтоб отслюнили. Бедняжка Серафима бредет за милостыней в администрацию района, в «Севптицебанк», в московские конторы, к кому еще, я даже и не знаю. И наскребает кое-как... За установку телефона местный узел требует пять тысяч долларов; мерзавцы! Не наскрести и Серафиме.

Подстанция бабахнула; собака заскулила впереди, поджала уши, но не обернулась и бег свой не ускорила.

– Вот хорошо, когда, допустим, автор вместе с пьесой приносит денежки на постановку, – признался ей Мовчун. – Шекспир, скажу тебе, собака, всем хорош, и «Лира» я поставлю непременно – но он и нищ, как Лир. И Чехов нищ, и Горький, и Вампилов. Чтобы их ставить, ищи повсюду деньги сам, гони на паперть Серафиму. Другое дело этот Тиша Балтин. Пришел с двумя конвертами под мышкой: в одном конверте пьеса, в другом – ее бюджет. Умеренный бюджет, но нам хватило. И пьеса ничего, вполне живая. Конечно, молод; как у всех неопытных, – переизбыток действующих лиц. Но не дурак: переписал, как я велел, не спорил, даже благодарил. Он всех, кто был введен им в действие без действия, а так, ради мелькания характеров и ради двух-трех реплик, всех выкинул, вернее, перевел на первый этаж... Да, с первым этажом придумано неплохо: большая часть приглашенных на свадьбу гостей пляшет без дыху на первом этаже, в закрытом зале ресторана. Их голоса и музыка слышны, но они так и не являются на крышу, где остаются только действующие лица. Хороший автор Тиша Балтин, но перестал бы наконец болтать про Колорадо! Раз в жизни съездил в Колорадо – и не унять теперь, достал буквально всех!..

Ну, Колорадо. Был я в Колорадо, в горы лазил; я жил в Америке семь лет, но я же не болтаю что ни день о Колорадо! Я делом занят, я его пьесу недоделанную ставлю! Я верно говорю, собака? – Кто-то невидимый, услышав его вскрик, шарахнулся в кусты в лесу и замер в тех кустах. Деревья чуть скрипели на ветру. Собака для порядка встала, утробно порычала, гавкнула во тьму и дальше побежала. Увидев сквозь деревья окна саванеевских домов, Мовчун ускорил шаг. Два шестиэтажных кирпичных дома, поставленных под прямым углом один к другому, образовали площадь при платформе Саванеевка; возле домов, теснясь, светились тусклыми и пестрыми витринами ларьки с консервами, конфетами и выпивкой, у выхода к платформе, возле леса, грели моторы автобусы трех маршрутов, нещадно портя выхлопами воздух. Выйдя из леса и сразу потеряв собаку, Мовчун направился к домам; в одном из них располагалась почта: она была уже закрыта, но у запертых дверей ее стояла единственная на всю округу будка телефона-автомата, в которой можно было говорить с Москвой. Мовчун прокашлялся и выругался, вдохнув вдруг сгусток дизельного дыма. Сквозь едкие его клубы с досадой разглядел очередь у будки. Приблизился, встал в очередь шестым. Стоявшие все были женщины, и та, что занимала будку, не столько говорила, сколько слушала, лишь иногда перебивая собеседника бессмысленными: «Ну?», «Ах вот!», «Ну да?»... И Мовчуну вдруг стало ясно, что репетиция испорчена, все будет скомкано и нервно – как этот вечер неудачно начался, так и закончится под утро неудачно. И ничего нельзя уже поправить. Мовчун стоял и слушал эти: «Ишь ты!», «Брось ты!», «А сама ты – что?», и злился, взывая к своему умению мгновенно успокоиться, казалось бы, смириться, но это не было смирение – лишь отупение, пугливое

бесчувствие, способное на время погасить любое воспаление нервов. Секрет умения состоял не в том, чтобы не думать или думать об ином, напротив, – нужно было думать ту же, треплющую нервы мысль, но думать словно бы не о себе и даже не о ком-то постороннем, но о придуманном, и даже не тобой придуманном, а неизвестно кем. Так, будто и не думать, а лишь мысленно мусолить нечто, прочитанное без нужды в случайно купленной газете, которую намерен вскоре выбросить... Та тетка в будке продолжала множить междометия, другие тетки психовали, пахли крепкими духами, – и умение не срабатывало, Мовчун никак не мог поймать свой нерв и приструнить.

... Не то чтобы не нужно было дать свободу Серафиме в этот вечер, но отпустить ее с мобильником – неряшливость ума, беспечность, и некого винить, кроме себя. Нет, следует и Серафиме вклеить, пусть в самой легкой форме. Это она обязана заботиться о том, чтобы во время репетиции не возникало вздорнейших проблем, это она должна была сообразить: ей ни к чему на мюзикле мобильник. Это она, коль вдуматься, вообще всему виной: и этой очереди у автомата, этим прогулкам через лес с собакой этой, театру этому, куда даже друзей, и тех нужно заманивать специально на премьеру. Она виной всей этой жизни саванеевской, но ведь и нет, она ни в чем не виновата. Она тебя не заставляла, никто не заставлял. Все ты сам. Никто не вынуждал тебя бежать из Сан-Франциско. Никто и не пытался обмануть тебя в том смысле, будто теперь театр в России на подъеме, будто Россия вся теперь живет театром. Никто не подсказал тебе, как ко всем тут подольститься, возвратясь, – ты сам додумался улещивать Москву враньем, будто тебе, Егору Мовчуну, в Америке не повезло, – и даже врать подлее, мол, в Америке хороший драматический театр невозможен, поскольку никому он там не нужен. А как не врать? Москва слезам не верит, но их любит. Коль любит, значит, все же, верит... Зато Москва не терпит тех, кто, погуляв на стороне, сумел там быть счастливым. В Москву нельзя въезжать с довольной рожей и на белой лошади. На покаянной нищенской телеге – вот это дело верное. Ты так и поступил... Напрасно ты, слюняй, не произнес: «Америку я ненавижу». Тогда б тебя не просто пожалели – полюбили б, тебя б внесли повсюду на руках, и помещение бы дали, и рекламу, и снимали б, и внимали б, уважали б, как и прочих, торжественной толпой вернувшихся навеки, тех, у которых это «ненавижу» вдруг сделалось паролем, сменившим их былой пароль: «Америка есть бог в святых мечтах земли».

Поскольку врешь ты с фактами в руках, тебе не верить трудно. Ты ведь и впрямь не ставил на Бродвее. Если не ставил на Бродвее, ну, значит, был в дерьме, в глубоком медленном фиаско. «Как начинал! Что обещал! Уехал сдуру, и представьте – ни одного спектакля на Бродвее. Пришлось ему забиться в угол в Сан-Франциско...» Прекрасно знают, благодетели: Бродвей теперь – не то, там мюзиклы теперь одни и шоу, там зритель ничего не смыслит в подлинном театре – он от него почти отучен. Знают, а жмурятся: «Бродвей, Бродвей! Ах, бедный, ты не ставил на Бродвее».

Не бедный я! Я ставил в Сан-Франциско! Там – рай для всех, кто ставит драму. Там нет бродвейских жирных денег – зато полно живых театров; там зритель знает толк в драматургии, и в сценографии знаток, и в режиссуре, там зритель знает толк в эксперименте – и заполняет залы до отказа. Там подлинная жизнь театра – не на Бродвее, не в Париже, не в Москве, но там! Там – вся алхимия театра будущего, если кого и впрямь, не ради красного словца, волнует будущее театра. Там даже улицы – театр, там даже негр на углу Макаллистер и Дивизаредо, просящий, пританцовывая в рэпе: «I'm hungry, help me, I'm hungry, help me», – актер почище, чем иной божок отечественной сцены, давно забывший смысл словечка «голоден»; там даже океанские тюлени-коттики не семьями, а труппами кучкуются у свай причала-ресторана: дают тебе спектакль на волне, пока ты наверху сидишь с подружкой в ресторане – ты платишь им не хлопаньем в ладоши, но честной мздой со своего стола. Площадки в Bay Area, подмостки в городских кафе, студийные подвалы – что там ваш Бродвей! Билеты в среднем за пятнадцать долларов, любой может позволить, не то, что на Бродвее вашем, куда вам лучше не соваться,

если в кармане меньше сотни. Да, ставил в основном американцев, зато все пьесы были свежие. Там, в Сан-Франциско, зритель жаждет не раскрученных премьер, а новых пьес, и драматурги пишут не для критиков – для зала. Так было в Англии во времена Шекспира, так было и у нас во времена Островского. И, кстати, раз на то пошло, Островского с Шекспиром я там тоже ставил... Я жил на всю катушку, так жил я, что о славе мне просто некогда и глупо было думать. Работа днями и ночами, кураж и праздник, вдохновение!..

Да, вдохновение. Пусть это слово нынче вслух нельзя произносить, но я ведь и не вслух! И это ложь, что это слово ничего не значит! Нет, очень даже значит, пусть трудно на язык всех прочих слов его перевести, но это слово означает принудительный, да, кем-то принужденный вдох, как если б ты тонул, почти смирился с этим – и кто-то делает тебе дыхание рот в рот. То Бог в тебя вдыхает или бес, или вдыхает Тихий океан, или это ласковое, словно галлюциногенный газ, дыхание ностальгии – да, ностальгия по деревьям на Тверском бульваре, по их немолодым ветвям, продавленным предновогодним снегопадом, вдохнула мне тот «Бег», что я поставил в Сан-Франциско и перенес почти без изменений в «Гистрион».

А славно ставить в Сан-Франциско «Бег»! Все то же чувство края света, все та ж константинопольская мысль о том, что там, за водной гладью, и притом не слишком далеко, – Россия. Вы не поверите, но зрители не поняли, что речь идет о давних временах. Они смотрели мой спектакль в убеждении, что речь идет о беженцах, гонимых нынешними войнами в Европе. Смотрели с чувством и в двух версиях: английской и испанской. Латины принимали лучше всех.

– Мужчина, как, вы будете звонить?

Мовчун пробрался в будку. Вукотич трубку взял не сразу. Услышав его «Здравствуй, брат», Мовчун мгновенно приуныл; он слишком хорошо, с блаженных лет училища, знал Стефана Вукотича; слух Мовчуна, сродни аптекарским весам, способен был измерить тяжесть каждой его, даже самой малой паузы. И в этом «Здравствуй, брат» Мовчун расслышал мнительно: неловко Стефану, и он звонку не рад. Мовчун решил без разбега огорошить друга своей догадкой:

– Что, Стеф, гастроли пролетели?

Тут Стефан поперхнулся (шотландским виски, как сказал себе Мовчун), спросил с испугом:

– То есть?.. Кто, что тебе сказал?!

– Слышу по голосу.

Последовала пауза, полная недобрых шумных вздохов, и Стефан наконец ответил:

– Так можно до инфаркта довести... Нет, брат, нормально, все нормально. И голос мой нормальный – просто день тяжелый. Еще эта московская погода, я отвык... Я сделал все и даже больше. Белград мы застолбили, даже смету подписали. После Белграда ты покажешься в Италии, два спектакля, надо будет выбрать по уму...

– Ты шутишь!

– ...Осталось мне с моим коллегой Стефано, – он тезка мой, но ты его не знаешь, – определиться с площадками. Скорее всего это будет Венеция и Парма. За пару месяцев мы это утрясем.

– Я могу сегодня объявить актерам: «Летом едем, сдавайте Серафиме паспорта»?

– Конечно, объявляй. Но про Италию пока молчи, а впрочем... Дед мой, понятно, был цыган, но я не суеверен. Скажи и про Италию.

– Отлично, брат, вот это все, что я хотел услышать от тебя...

Стефан молчал. Мовчун тоже. Он знал, что собеседник благодарности не ждет: за двадцать с лишним лет так между ними устоялось: помощь друг от друга принимать как должное.

– Егорушка.

– Ну что?

– Как мы давно с тобой не говорили, все телефон да телефон, а ведь пора.  
– Пора, пора. Поговорим, Стеф; встретимся, поговорим... Я из автомата звоню, ты про-  
сти. Тут очередь. До встречи, брат.  
– Пока.  
Мовчун повесил трубку, шагнул из будки в облако жирных женских духов, в табачный и  
сивушный смрад, что исходил от вставших в очередь мужчин.

Он шел, ликуя, через площадь. Увидев издали белесую собаку, помахал ей рукой и даже  
свистнул. Но не успел он встретиться с собакой, как между ними, оглушив, встала желтая  
«акура». Динамики ее гремели старым рок-н-роллом так, что вся она от грохота дрожала. Мов-  
чун сказал: «Ах, черт», – и поспешил надеть беспечную улыбку. Водитель дверцу настезь рас-  
пахнул, и, прежде чем наружу высунулся его квадратный торс в одной расстегнутой пижаме,  
лицо Мовчуна обдало жаром автомобильной печки. Перекрывая гром динамиков, водитель  
крикнул жалобно:

– Где пропадаешь? Все репетируешь?  
– А как иначе, Черепахин? Что сеем, то и жнем.  
– В такой тоске я, слушай, я в такой тоске! Жена опять в Парамарибу; решил пожить  
на даче в тишине, а выпить – не с кем! Звал корешей – приехать не смогли! Один я в доме!  
Пятнадцать спален, зала – везде пусто, я даже свет не зажигаю, только в курительной! Во всем  
поселке никого, одни вороны да охранники! Не пить же нам с охраной!

– Ты, Черепахин, не сердись. Меня актеры ждут.  
– Ну, на часок...  
– Работа, Черепахин. Извини, работа. Я объявил премьеру на ноябрь.  
– Ты ночью приходи.  
– И вечером, и ночью – все работа... Вот утром я свободен. Утром я твой, если потом  
уложишь спать.

– Вы люди творческие, мы – простые. Мы по утрам не пьем, а деньги шлепаем.  
– Удачи, Черепахин.  
Тот выключил музыку; спросил уныло в тишине:  
– О чем хоть пьеска? Может, я приду.  
– Я тебе сам доставлю приглашение на премьеру.  
– Ты расскажи, а я подумаю – идти или не идти. Вы люди вольные, мы занятые.  
– Ну, наши дни. Гуляет свадьба в ресторане на берегу большой реки. Вернее, летний  
зал на крыше ресторана. Разные люди. Гуляют. Вдруг ураган. Потоп и наводнение. Все вокруг  
смыло. И только крыша ресторана осталась на поверхности воды. И люди на ней – словно на  
плоту. Так это выглядит, поскольку выше крыши вода пока не поднялась. Но поднимается. Все  
ждут спасения. Выясняют отношения...

Черепахин, не дослушав, тронул с места свой автомобиль и, прежде чем захлопнуть  
дверцу, сказал:

– Гуляют – это хорошо, а то, что отношения там выясняют, – это плохо. Ты бы убрал про  
отношения, тогда я, может, и приду.

– Ладно, – сказал Мовчун, – я что смогу, то уберу. Не заскучаешь.

– И почему он мне не подвернулся полчаса назад? – посетовал Мовчун собаке, когда  
они входили снова в лес. – Уж у него-то точно есть мобильник. Давно бы был уже в театре...  
Смешно сказать, а Черепахин прав, пусть и бревно. При выяснении всех этих отношений у  
Тиши вязнет действие. Он переписет, как я пожелаю, – но я и сам пока не знаю, что там еще  
переписать. Персонажей поубавили, убрали лишних на первый этаж. Финал пересобачили, он  
стал упругим. Теперь в финале гибнут все, кроме Массовика-затейника. Он спасся на столеш-

нице – и мы волну дадим, наверное, раскачивая столешницу, как качели. Но Серафима, как всегда, права: волна качает медленнее, чем качели. Нужен замедленный, как в страшном сне, размах качелей. Так было б достовернее и жутче. То есть нам нужно, чтобы кто-то их придерживал, чтоб чуть их притормаживал – и так же плавно посылал... И этого «кого-то» ведь не спрячешь. Здесь нужен некий персонаж, какого нет у Тиши: условный Автор или Некто с метафизическим намеком, я еще не решил... Медленный маятник качелей. И монолог Массовика, лежащего на них плашмя, или, пытаюсь удержаться в равновесии, стоит он; говорит: «Я не хочу, чтоб высохали воды и обнажили то, что спрятали, стыдясь за блядский (“блядский” убрать; и убери: мне не к лицу бежать за этим новым комсомолом) облик мира...», ну, и так далее... Тебя пугает, пес, что я уж репетирую, а сам считаю пьесу неготовой? Не бойся, не впервой, бывало и похуже.

Похуже, пес, это когда ты ясно видишь: дело не в пьесе, но в тебе самом. Я ставил Сайруса В.-младшего, дебютанта из Лос-Анджелеса, и пьеса у него была вполне приличная, про знаменитых трех певиц, сестер Эндрюс: «Shoo, Shoo Baby» называлась – по названию одной их славной песенки. Славная пьеска, и всего-то три актрисы, и нет, не биография сестер, а вольная фантазия на тему легкости искусства и тяжести бытия. Там был воздушный поцелуй чеховским «Трем сестрам» – все та ж тоска по раю, тоска по детству, тот же хоровод капризных мужиков. Сюжеты песенок сестер драматургически обыгрывались. Одна беда – тот Сайрус В. придурок был: он жестко оговаривал в контракте, чтоб сами песенки в спектакле не звучали. То есть вообще и никакая! Даже «Shoo, Shoo Baby» не должна была звучать, иначе-де его бессмертное творение враз превратится в мюзикл. Он, Сайрус В.-младший, презирает мюзиклы. Но я-то мюзиклы не презирал, хоть никогда их и не ставил. Не мюзикл, конечно, но спектакль с морем музыки я бы поставил. Я уже видел, слышал тот спектакль. Я видел в нем возможность столкновения жанров, звуков. К тому ж любил я эти песенки, особенно «Rum And Coca Cola». И мой продюсер был того же мнения. Он бы послал подальше Сайруса В.-младшего, но не хотел упускать его из рук. И сдался, сукин сын. Велел мне ставить так, как хочет драматург. Я начал репетиции, тяжелый и пустой, не зная ничего о будущем спектакле, уверенный, что выплыву, вот как сейчас уверен. И очень скоро понял: не могу. Во мне что-то не так – не в пьесе, но во мне. Я это чувствовал всегда, все время пребывания в Америке, – но до поры мне это не мешало, просто беспокоило, ну, как недомогание, которое, явившись на прием к врачу, не можешь рассказать ему словами. Как быть, когда ты сам себе врач, сам задаешь себе вопрос: «Что беспокоит?». И сам себе не можешь это объяснить. Я нервничал. Актрисы нервничали. Продюсер мой, чтобы не нервничать, сбежал на десять дней в свою Флориду. Чтоб разобраться, я сослался на понос, отменил репетицию (две отменить – не мог себе позволить) и выгадал свободный день.

Была суббота, да, начало ноября. Я славно выпался, немного послонялся. Хотелось выпить, но не напиваться. Бары манили – и отпугивали своей угрюмостью и теснотой. Хотелось солнца, ясности, простора, но и выпить. Я был растерян, и меня вдруг осенило. Я поспешил на автостанцию. Вместе с туристами из Айовы, Вайоминга и Арканзаса поехал на экскурсию в Напа Вэлли, долину виноградников и виноделов.

Автобус выехал на самый дивный в мире мост. Водитель, он же гид, с корявым юмором, рассчитанным на жителей Вайоминга, стал говорить о том, сколько несчастных прыгнуло с моста за шесть десятков лет его существования («Что еще делать неудачнику? И знаете, ребята, кто из них – самый большой на свете неудачник? Не знаете?.. Ха-ха, а тот, кто прыгнул и остался жив!»). Водитель раздражал, но я его не слушал. Я завороченно глядел с огромной высоты на золотую воду бухты. Вуе, вуе, придурок Сайрус В., я еду дегустировать вино!

И поначалу было все неплохо. Душа во мне играла, щекотала и искрилась, как виноградная шипучка. Извив дороги меж холмов, бледно-сиреневый кустарник, желтая жесть сухой виноградной лозы, красная почва, свежий жаркий ветер, и эти виллы на холмах, и эти тесные,

прохладные залы виноделен, глотки вина то тут, то там, а приплатить – и полные бокалы. Я не пьянел от вин – я млею от слов: Пино нуар, Мерло и Каберне, – как славно было бы ими так увлечься, чтоб бросить душные подмости и завести свою делянку винограда; выращивать лозу и продавать свое вино. «Мерло Мовчун» звучит смешно, но лишь на русский слух. А здесь звучало бы не хуже чем «Фрэнсис Форд Коппола» – довольно неплохое, недешевое вино, его здесь делает сам кинорежиссер из собственного винограда. Водитель-гид вернул меня к реальности, поведав пассажирам, сколько стоит виноградник в Напа Вэлли: «Направо гляньте – меньше поля для бейсбола, а японцы прикупили за четыре миллиона долларов». Вайоминг, Айова и Арканзас заплодировали. Я заскучал.

Желудок не привык к коктейлям из вина. После обеда в Калистогге меня и впрямь пробрал понос – лишь сильные таблетки помогли. Я перестал различать вино на вкус, а впереди было еще полдня экскурсии. Я честно пробовал вино и честно спрашивал себя: что я здесь делаю? Священнодействую с калифорнийским, которое, по правде говоря, в подметки не годится испанским и чилийским винам; с французским оно рядом и не булькало!.. Что я здесь делаю, в театрах Сан-Франциско, зачем я, человек-конвейер, который год ставлю без продыху спектакль за спектаклем, все – под чужими именами, почти забыв себя, не выбирая сам, что ставить, и не любя и половины пьес из тех, что предлагают мне продюсеры! Зачем тебе Сайрус В.-младший! Он думает: он первый парень на деревне, пусть. Но для чего тебе деревня?! Тут все неясное, что угнетало и тревожило меня, парализуя навыки и волю, из-за чего и был я вынужден устроить выходной, вдруг поднялось во мне, разбуженное раздражением. И я сказал себе: «Эй, стоп! Вино и Сан-Франциско ни при чем. Ты разберись в себе, коли собрался разобратся. Пей, пей вино, заешь его таблеткой от желудка, гляди в окно автобуса и думай; давно ты не имел досуга думать о себе. Ну-с, что, дружок, с тобою, ностальгия? Нет, с ней ты, слава Богу, разобрался: в аптечных дозах ностальгия вдохновляет, как это было с «Бегом», в больших – уничтожает, как мышьяк, тому примеров масса. Ты это понял сразу – и хладнокровно от нее избавился, сказать точнее – оприходовал, загнал в пробирку и извлекаешь по крупице лишь тогда, когда того вдруг требует работа... Здоровье? Чушь!.. Быть может, возраст? Это серьезнее, тебе уже за сорок. Но никогда твой возраст тебя не занимал, не радовал и не пугал, ты даже плохо помнишь дату своего рождения... Усталость? Может быть, усталость. Верней всего, усталость. Тебе ведь есть с чего устать. И не исключено, что то, что тебя давит с такой силой изнутри, – предупреждение: остановись, прерви работу, устрой себе нормальный отпуск, иначе угодишь в психушку с депрессией, а то и чем похуже...» Похоже, пришла ясность. Мой разум говорил мне, что я прав. Но некая тревога твердила разуму: ничто тебе не ясно, и не лги.

В который раз автобус с ласковым шипеньем открыл дверь и выпустил туристов. Опять какая-то винарня. Все вышли, вышел я, но дегустировать не захотел – остался в одиночестве снаружи. Небо сделалось лиловым, назревал дождь. Я, разминая ноги, ходил туда-сюда вдоль низенькой ограды, за которой топорщил ветви и цветы неброский садик подле винодельни. И что-то вдруг меня остановило. И это что-то было там, в саду. Оттуда раздавался запах цветка или травы, не знаю, я в ботанике профан, но запах был, как у цветка или травы. Я вдруг заволновался, стал, вытягивая шею, разглядывать весь сад – и понял, отчего меня волнует этот запах. Долина до того ничем не пахла, вообще ничем. Кустарники, трава, цветы, колючки, лоза, деревья, даже глина в Напа Вэлли – ничем не пахли, будто их нарисовали. Возможно, я не прав, подумал я, и у меня проблемы с обонянием, но нет: вот и туристы из Вайоминга, Айовы, Арканзаса – едва лишь вышли после дегустации, принюхались, толпятся у ограды и, как и я, вытягивают шеи. Самые смелые вошли без спросу в сад – так взволновало их наличие запаха, и, раздувая ноздри, прут толпой по тропке, разглядывая каждую травинку. И я вошел, увидев, что хозяин сада, облокотясь о подоконник, глядит на это самоуправство благосклонно. Я шел, похрустывая гравием, по тропке, и с каждым шагом запах слышен был сильнее, я вслед за всеми шел на запах – тут кто-то завизжал, какая-то старуха из Де-Мойна: «Нашла, нашла!», –

и все к ней бросились, и я за всеми. Там был высокий куст почти без листьев, с невзрачными цветами. Он пах. Все показывали его друг другу, смеялись и не торопились идти к автобусу – водителю пришлось легонько посигналить. Его послушались; я уходил последним. Уже темно, в ноябре темнеет быстро. Тихонько начинал накрапывать теплый, мягкий, словно масло, дождь. Куст пах, не отпускал. Автобус вновь легонько посигналил; все ждали одного меня. И вдруг меня ударило в этом чужом саду. Ударило, как гром или как этот, за моей спиной, внезапный выстрел электричества: СЕРАФИМА!

Вернулись в город затемно, но и не поздно. Водитель выпустил меня, как я просил, едва лишь съехав с Золотых ворот, недалеко от квартала Марина. Я под дождем набрел на бар в Марина и там проплакал над стаканом отвратительной текилы до полуночи, по-русски говоря индусу-бармену, как был я глуп все эти годы. Я вспоминал и удивлялся. Тогда, зимою девяносто третьего, я на досуге подрабатывал: давал уроки тем, кто собирался поступать в театральное. Серафиме было шестнадцать. Мне – за тридцать. И мы всего неделю были вместе, причем не по моей, а по ее инициативе. Потом я это прекратил, положим так, из трусости. Потом увлекся Джин, за ней уехал в Сан-Франциско. Джин, вдруг раздумав выйти за меня, исчезла; у меня пошла работа – полуполюгально, без рабочей визы на руках, под вымышленными именами или под именем продюсера; о Серафиме я почти забыл. Она почти, казалось, растворилась, лишь колебалась легким очертанием, а то и вовсе исчезала в мареве памяти, и без того ослабшей за ненадобностью. То очертание не ею было, оказалось, да и не памятью о ней – лишь тенью памяти, фата-морганой, симулякром, как выражается весь этот новый комсомол. Ее живое, подлинное очертание, поверить трудно, хитро пряталось во мне. Оно во мне укромно поселилось, и затаилось, и тревожило меня все эти годы, ничем иным себя не обнаруживая. И я, как ни прислушивался, не мог никак понять, что во мне прячется, что так меня гнетет. Все эти годы я любил – и ничего не знал о собственной любви.

Я все-таки поставил «Shoo, Shoo Baby». Как и велели мне, без песенок. Спектакль имел умеренный успех. После премьеры я пришел домой с бутылкой русской водки, нашел кассету с песнями сестер: пил и всю ночь их слушал в упоении: я «Shoo, Shoo Baby» прокрутил пять раз, «Rum And Coca Cola» – раз восемь; я подпевал им, наливал себе, и пил, и пел; потом уснул, не выключив магнитофон. Проснулся с ясной головой, на диво свежий. Собрал дорожную суму, послал продюсеру по факсу свое последнее прощание, оставил на столе хозяину квартиры ключи и деньги, что был должен, и улетел на «Боинге» «Аэрофлота» через Сиэтл в Москву.

И Серафима приняла меня.

О том, что мы уже два года вместе, считай, никто не знает – таково было условие Серафимы. Она помешана на профессиональной независимости, еще сильнее – на репутации профессионально независимой. Подозреваю, этой конспирацией она немножко мстит мне и себе самой за то, что без упрёка и без ропота вновь согласилась быть со мной – как если б я ее и не бросал. Конечно, очень близкие друзья, такие, как Стеф Вукотич, – те знают о нас все. Возможно, кто еще догадывается, но виду нам не подает. Меня сначала это задевало, потом понравилось. В том, как мы прячемся, пульсирует напоминание о тайне и запретности той, нашей первой связи в ту давнюю и первую неделю. И Серафиме будто возвращаются ее шестнадцать лет. Тем более что внешне она мало изменилась.

Охранник спал на стуле. Дверь в зал была открыта, оттуда падал свет; по темному фойе из зала гулко разносилось:

- ...А то вы всем рассказываете, а мне ни разу не рассказывали.
- Вас не застать. Я приезжаю – вы в библиотеке. Как только вы в театре – мне не до театра, у меня свои дела в Москве.
- Так что вы делали там, в Колорадо?
- Чуть-чуть себя позиционировал.

- Подумать только! А с какого боку?
- Читал свои пьески. Вот эту, и еще «Паломников». В одном колледже, в Денвере.
- Имели успех?
- Некоторый... Да, можно так сказать. Народу – набралось. Профессор Лейдерман хотел меня послушать; жаль, не сумел приехать. Потом вопросы задавали.
- О чем были вопросы?
- Что могут спрашивать студенты?.. Всякий вздор.
- Ну а студентки?
- Что – студентки?
- Как там студентки?
- Обыкновенные студентки, очень миленькие.

Мовчун вошел в зал. Тиша Балтин и завлит театра Маша сидели рядом на краю неосвещенной сцены и болтали ногами. Больше в зале не было никого. Мовчун спросил:

– Куда все подевались?

Юная Маша прыгнула со сцены и, отряхнув юбку, доложила:

– Гуляют где-то в парке; дышат. Вас ждут.

– Не в службу, Машенька, а в дружбу. Соберите.

Как только Маша упорхнула, Мовчун сурово попросил:

– Не выбивайте мне завлита из работы.

Тиша Балтин лишь вздохнул в ответ.

... Они входили в зал по одному: Линяев, он же Массовик-затейник, Охрипьева-Невеста в белом козьем свитере (чтоб помнить и на репетиции о белом свадебном наряде), Родители Невесты: Селезнюк и Некипелова, Жених Русецкий, Тамада Шамаев и гости: Серебрянский, Иванов, Обрадова и Брумберг. Назначенный на роль Торговца смертью Шабашов вошел последним, но зато его седой и гордый кок стоял над головами всех, как парус.

– Прошу внимания, – сказал негромко Мовчун, как только все расселись в зале. – Во-первых, о гастролях. Нам подтвердили – едем в Югославию. – Зал оживился, и, едва лишь оживление улеглось, Мовчун добавил, как бы между прочим: – Потом – в Италию, спектакли в двух городах, каких, пока не уточнили. – Не дав, как было б должно, зашуметь, он объявил: – План наших действий вам известен. Если кто забыл – напоминаю. Репетируем до утра. Днем отсыпаемся – кто хочет, здесь, кто хочет – дома. Завтра даем «Двенадцатую ночь». Надеюсь, Серафима не забудет напомнить Соболевской и Парфенову, которых с нами нынче нет, что завтра им играть... Затем ночуем дома. Послезавтра репетируем весь день. Спектакля послезавтра нет... Что ж, приступаем. Дед и Шамаев – первый выход ваш; пока без мизансцен; обкацываем текст... Текст помните – или дать бумажку?

– Я выучил, – ответил гордо Шабашов, поднимаясь на сцену.

– Я б уточнил немного по бумажке, – сказал застенчивый Шамаев.

– Ну так возьмите текст! – сказал Мовчун. – Где текст?.. Так, текст у Серафимы, очень мило.

– У меня есть экземпляр, – подала голос Маша.

– Вперед, – сказал Мовчун.

Ступая робко, словно по дорожке льда, неся торжественно перед собой, как Фирс несет поднос, раскрытую на середине пьесу, Шамаев поднялся на сцену.

Мовчун актеров не перебивал. Он их не наставлял еще. Он просто слушал, силясь уловить в их голосах возможности иных, пока ему не слишком ясных смыслов. Так он привык. Мысль Мовчуна, всегда дремавшая над пьесой и даже над эскизами художника к спектаклю, мгновенно просыпалась от звучания голосов актеров, и ей неважно было поначалу, куда и как актеров занесет: в лес, по дрова, иль кто во что горазд – именно там, в лесу старательно-бездумно произносимых слов, их произвольных интонаций и случайных пауз, Мовчун и находил

еще никем не слышимое звучание будущего спектакля – и оно не было уже ничем похоже на те звуки, что издавали, скажем, Шабашов с Шамаевым, впервые вслух обкатывая текст, – но и без них возникнуть не могло. Как только начинали говорить, иль бормотать, или кричать актеры, как только они, будто бы оркестр перед концертом, брались настраивать свои голосовые связки, нервы, навыки – в сознании Мовчуна вдруг оживали краски на эскизах декораций и понемногу наполнялись кровью будущего зрелища ряды ремарок, реплик, построенные драматургом.

Шамаев с Шабашовым знали, что Мовчун сейчас не будет их перебивать, и, осмелев, бросали реплики друг другу, почти не слушая один другого, уверенные в том, что каждое буквально слово, как ни подай его, будет подхвачено партнером – так перебрасывают мягкими шлепками мяч курортники, встав в круг на крымском пляже: куда, не глядя, но зато лениво, стараясь не испытывать, не затруднять друг друга, стремясь к тому, чтоб мяч как можно дольше продержался в воздухе:

«...Нет, мое имя вам знать ни к чему». – «Вы прячетесь? Решили затеряться среди нас, пирующих на шумной свадьбе?» – «Нет, я не прячусь никогда. Но я работаю в одной торговой фирме, товар которой необычен». «Страшусь спросить, что за товар». – «Страшитесь, а, считай, спросили. Что ж, я отвечу. Изделия самого широкого профиля. Одни из них способны продырявить человека насквозь на расстоянии трех километров. Другие превратить в облако пара самолет, летящий в стратосфере. Иные могут в клочья разнести броню танка. Впрочем, я и танки продаю». – «И как торговлишка?» – «Да помаленьку. Цена немалая, не семечки в стакане, и покупатели наперечет, и конкуренты поджимают». – «Впервые вижу торговца смертью так близко. Можно вас потрогать?» – «Не стоит. Лучше выпьем. Здоровье молодых!» – «Здоровье молодых!.. Легко ли пить вам за здоровье, торгуя смертью?» – «Легче легкого. Вот вы заладили: торговец смертью да торговец смертью. Вы вкладываете в свои слова какой-то нехороший смысл». – «Я ничего не вкладываю, я лишь повторяю устойчивое словосочетание». – «Вы вкладываете, вкладываете, бросьте отпираться, я ясно слышу, как вы вкладываете». – «Пусть вкладываю – но, согласитесь, бизнес ваш немного инфернален». – «И аморален, вы хотите мне сказать». – «Да, аморален». «Должно быть, он не меньше аморален, чем торговля телом, родиной, людьми?» – «Не знаю, меньше или больше, но из того же ряда». – «Торговля телом отвратительна, поскольку унижает тело, верно?» – «Да, верно». – «Торговля родиной гнусна, поскольку унижает родину, святое выставляет как товар. Я верно излагаю?» – «Да». – «Нельзя, должно быть, торговать людьми, поскольку делать их товаром – значит унижить их, ведь верно?» – «Конечно, а вы разве не согласны?» – «Я-то согласен. Но при чем здесь смерть?.. О, я вам сам скажу, при чем. Вы все ее боитесь. Так боитесь, что перед нею пресмыкаетесь. Вы превратили смерть в кумира, в языческого бога, вы каждой нотой похоронного Шопена пытаетесь ее растрогать, надеетесь задобрить цветами, плачами, речами и кутьей с изюмом, мол, ты возьми, кого взяла, и съешь кутью – только ко мне не приходи. Вы и при жизни все унижены ею, а вот я – торгую. Я унижаю смерть – что в этом скверного, приятель?»

...Потом Охрипьева в роли Невесты жаловалась Массовику-затейнику на Тамаду: еще вчера он был ее любовник – и вот, посмел явиться с тостами на свадьбу. И Массовик, как Мефистофель, предлагал нахала разыграть: сказать ему, что будущий ребенок, из-за которого пришлось со свадьбой поспешить, он от него, нахала этакого, вовсе не от жениха... Невеста тут же признавалась Массовику-затейнику в обмане: она не ждет ребенка – купила справку о беременности, чтоб свадьба непременно состоялась. И Массовик незамедлительно приступал к шантажу: «Всего лишь полчаса со мной – там, в нижних этажах, есть комната на этот случай...». Невеста соглашалась – тут же становилось ясно, что Массовику не нужно ничего: он просто лишний раз хотел удостовериться в том, как ничтожен мир, как низко пали люди.

Тем временем Жених-Русецкий обхаживал влиятельного гостя, роль которого разучивал Игнатий Серебрянский:

«Я очень исполнительный, но я рассеянный. Меня нужно держать в ежовых рукавицах. Иван Степанович, коль вы желаете добра моей Наташе и нашему с ней будущему сыну – прошу вас, кроме шуток, станьте для меня ежовой рукавицей. Сожмите так, чтоб я не продохнул! И я не пискну, нет, я буду вам признателен до гроба!»

Потом был трудный, даже для обкатки, эпизод, где говорили все поочередно, хором и наперебой – когда, согласно действию, стремительная буря вдруг превратила реку в океан, весь ресторан со всеми, кто там пил и танцевал, остался под водой, и только крыша с действующими лицами пока еще держалась на поверхности:

«Ах, что это плывет?» – «Где?» – «Где?» – «Да вот, вы только поглядите, на волне!» – «Быть может, лодка?» – «Может быть, за нами?» – «Оно к нам приближается!» – «Эй, вы, на лодке! Сюда, мы здесь!» – «Нет, то не лодка». – «Боже, что это?» – «Корова?» – «Человек?» – «Похоже, детская кроватка!» – «Только не это, нет!» – «Там, кажется, ребенок». – «Да нет же, остолопы, это кукла! Вы приглядитесь, кукла! Кроватка-то, ха-ха, игрушечная. Похоже, все мы здесь лишились глазомера – как только потеряли берега из виду. Всего-то лишь игрушечная кроватка, и в ней – кукла Барби!» – «А это что?» – «Да где же?» – «Видишь?» – «Вижу!» – «Глядите все! Вон там – ныряет и всплывает на поверхность». – «Что это?» – «Что?» – «О, Господи, что это может быть?»

...Потом, немного за полночь, был перерыв, и Тиша Балтин, пользуясь молчаньем Мовчуна, взялся указывать Шабашову:

– Вы произносите слова об унижении смерти, как будто сами в них верите. Должно быть ясно: ваш Торговец не мыслитель, а игрок и циник.

– Простите, – отказался слушать Шабашов. – Не знаю, как вас нужно величать: Терентий, Тихон, Тимофей или, может быть, Галактион, я ведь и отчества не знаю, но своя правда есть у каждого...

– Зовите Тишей, как и все зовут.

– Нет, не могу. Мы не так давно знакомы.

– Так что с того? Я Тиша даже на афише! Я так решил, и это знают все. И я просил бы уважать мою свободу. Я как свободный человек вам заявляю: зовут меня Тиша Балтин и никак иначе.

– Проблема в том, – заметил Шабашов, – что это вы не уважаете мою свободу. И это ваше «Тиша» – принуждение. Да, да, не торопитесь надо мной смеяться, еще и Машеньке подмигивать. Вы принуждаете меня к фамильярности, а мне она не свойственна и, честно признаюсь, противна...

Мовчун внезапно произвел хлопок в ладоши, и препирательство оборвалось.

– Дед, отдыхайте и не заводитесь, – сказал Мовчун. – Пойдите, покурите свою «Приму». Впереди работа... Вы, Тиша, будьте Тишей, ради Бога – но, ради Бога, не встревайте. Вы лучше развлеките нас, вы расскажите, как там нынче поживают колорадские жуки...

– В Колорадо нет колорадских жуков, – обиженно ответил Тиша. – Их там и не было, и непонятно, почему их называют колорадскими.

– Кто же там есть?

– Допустим, суслики. Там есть еноты, пумы и медведи, но вот меня, к примеру, тронули суслики. Они обжили парки, все пустыри и даже насыпи железной дороги. Всюду их норы. Резвятся стаями, людей не боятся. Хотя и принимаются орать, потом свистеть при виде человека. Но и не убегают. Орут, насвистывают, но не прячутся. Их там зовут: собака прерий. Вообще-то они рыжие.

– Вот интересно, каковы они на вкус, – сказал задумчиво Шамаев, старательно разворачивая бутерброд, завернутый в фольгу. – Их, как, едят?

Мовчун расхохотался; Тиша ужаснулся:

– Да вы что! Их берегут... Если пустырь, допустим, собираются застроить – всех сусликов переселяют. Вы что смеетесь! Колоссальная проблема – как отловить всю стаю сусликов и так переселить, чтоб никого из них не повредить, не напугать... Я говорю, напрасно вы смеетесь. Тут ничего смешного. Ученые ломали голову. Изобрели такой огромный пылесос. Но не для пыли, а для сусликов. Хватит вам смеяться. Огромный и широкий мягкий шланг, рукав такой, с огромной силой, но и ласково, всасывает сусликов, и все они оказываются в мягком таком мешке или палатке. Потом их аккуратно перевозят на новую лужайку, там выпускают, и они резвятся, роют себе норы и живут, как будто ничего и не случилось... Я же сказал вам: это не смешно.

– Над автором смеяться – грех, – согласился Мовчун и поглядел на часы. – Так, час без двадцати. До часу можете резвиться, как суслики; потом продолжим.

Затылком ощущая сонный и цепкий взгляд немого охранника, он вышел на крыльцо и, обойдя вдоль стенки павильон, очутился в задней, самой дикой и ничем не освещенной части парка. Сквозь колыхающиеся на ветру прорехи в сплошном кустарнике, что обрывался под гору в укрытые ночью тьмой поля, мерцали дальние и редкие огни шоссе; за ними, там, где угадывался горизонт, перемещался с запада и на восток сноп искр из-под дуги электровоза, как если б кто-то автогенном испарывал шов меж небом и землей. Спектакль между тем все ярче, но еще не очень четко брезжил в голове. Тон будущего зрелища, как чувствовал Мовчун, был им в самом себе расслышан верно: да, сдержанность, медлительность и никакого взрыда – внешне спокойный и ленивый, как после валиума, тон... Пока еще тревожила неясность с показом бури и большой воды. Найти предельно точный и предельно чувственный прием, который резко оттенил бы тихий тон игры актеров, прием, пусть обнаженный, но не так, чтоб зритель отвлекался на его оценку, мешала Мовчуну завистливая память. Он помнил «Бурю» Эфроса – там гром и шторм изображали десятки воздушных детских шариков: они противно и тревожно скрипели в быстрых пальцах хора и хаотично лопались в руках. Мороз по коже. Несколько секунд. Всем существом хотелось повторить, а значит, было нужно поскорей, словно от морока, избавиться от этих шариков, скрипящих и скрипящих в сердце. Еще Мовчун невольно думал о подсвеченном, шуршащем и волнуемом целлофане, которым кинорежиссер Феллини изобразил впервые море в «Казанове» и после повторил этот прием в картине «И корабль плывет». В воспоминании о целлофане было меньше зависти, но все равно то было лучшим из известных Мовчуну условных и сработанных руками из подручных средств изображений живой и дышащей воды...

Мовчун продрог. Сырые заморозки быстро выстудили в нем желание поразмышлять на воле. Он поспешил вернуться в павильон.

Решив начать с конца, он попросил Линяева выйти одному на сцену и произнести последний монолог Массовика.

– Текст выучили?

– Разумеется, – с испугом, как всегда, откликнулся Линяев. – Но можно пробегу еще глазами?

– Можно, но быстро. Маша, где ваш экземпляр?

Мовчун надеялся: без суеты перед глазами, всего с одним актером, в пустоте вокруг него и в продолжение длинного (неплохо б после сократить) монолога вдруг повезет, да и откроется, как лучше эту пустоту наполнить как передать качанье на волнах столешницы, как показать и сами волны, как подсказать, по крайней мере, направление художнику, чтобы тот знал, куда отправиться в тишайшем сумраке своей московской мастерской на поиски единственно возможных волн. Художник В. в театр не приезжал, имея сходные привычки с Мовчуном. Оба считали, что хорошо работать вместе только с теми, с кем можно думать порознь. Совместных

мыслей вслух, крикливых «мозговых атак», тем паче споров, оба не терпели. «Спор – способ самоутверждения, и только, – сказал старательно Мовчун ему при первой встрече. – В спорах рождается вражда, ну, может быть, еще и власть... Истина рождается в доверии и в молчании. Поэтому, вы не сердитесь, но мы с вами ничего не будем обсуждать по ходу дела. Я ставлю вам задачу – и принимаю результат». И легендарно неулыбчивый художник В., растягивая губы до ушей, ответил: «Мы сработаемся»...

Линяев вернул завлиту Маше экземпляр и, охнув и перекрестясь, шагнул на сцену, словно в воду. Сказав:

– Я начинаю, – тут же начал:

«Где я, и почему меня тошнит? Где все?.. Нет никого, одна вода кругом и ветер. И мерзкие, как будто хохот ведьм, крики чаек... Я мерзну – это значит, что я жив. Куда меня несет?»

Мовчун увидел краем глаза: Таня Брумберг, до этих пор вязавшая крючком подобье распашонки, заснула, уронив с колен вязанье на пол; Шамаев спит, Русецкий борется со сном, массируя лицо ладонью, – нехорошо, Линяев обидчив, но, что поделывать, на дворе глухая ночь. Мовчун на всякий случай поощрительно кивнул Линяеву; тот, благодарно повышая голос, продолжал:

«...Достойный эпилог карьеры шоумена. С недавних пор меня так стали называть, и я не возражал, но здесь, меж небом и водой, наедине с собой, я, как и прежде, массовик-затейник. Я славно вас развлек и, развлекая, изучил. Вот почему ни капельки не страшно. Плыву пока – но на земле меня ничто не держит. Не хочется ступать на эту твердь – не столь она тверда... Итак, друзья, последняя игра. Призов не будет, главный приз вы получили. Нуте-с, красавица—невеста, первый вопрос – к вам. На что рассчитывал недавний ваш любовник, когда напрашивался к вам на свадьбу тамадой?.. Вас, видите ли, подразнить? Ответ неверный... Кто мне ответит? Вы, жених?.. Войти в доверие к вам, потом наставить вам рога?.. Ответ неверный, хотя, не утони он вместе с вами, рога бы вам, пожалуй, и наставил... А что нам скажет наш влиятельнейший Гость?.. Подсесть при случае к вам и подольститься... Ответ неверный и смешной: похоже, бонза, вы и впрямь решили, будто свадьбу затеяли ради вашего присутствия... Вы, гость, торгующий оружием, – ваша версия?.. Да что вы говорите! По-вашему выходит, тамада был офицер спецслужб, на свадьбу напросился лишь затем, чтобы следить за вами? Вот это правильный ответ! Аплодисменты! Все аплодируем из преисподней! Браво... Вопрос второй, к невестинной подруге... »

Невестиная подруга Таня Брумберг вмиг проснулась и, охнув, подобрала с полу шерсть. Мовчун невольно огляделся. Шамаев и Русецкий, как и прежде, тихо спали. Тиша Балтин уронил свою лысеющую голову на плечико завлита, и Маша, чтобы не уснуть, бездумно перелистывала пьесу. Все прочие: Охрипьева и Серебрянский, Обрадова, и Некипелова, и Иванов, и Селезнюк – успели незаметно покинуть зал; должно быть, тоже спали в креслах и на диванах полутемного фойе... Один лишь Шабашов, чтоб не дремать, прохаживался меж рядами кресел, вздев гордо голову, скрестивши руки на груди и сисясь вслушиваться в монолог, который точно нужно было сократить: глумливая игра Массовика с погибшей свадьбой явно затянулась.

Мовчун, однако, не перебивал и слушал, сам прикрыв глаза, как если б задремал вслед остальным. Линяев, хоть и понимал, что режиссер не спит, все же невольно перешел на крик:

«...Я не хочу, чтоб высохали воды и обнажили то, что спрятали, стыдясь за блядский облик мира...» – тут он осекся, сбитый с толку шумом из фойе. И все, кто спал, проснулись.

Кто-то кричал: «Оставь, кому сказал, пусти, сказал! Эй, руки убери!». Упало, грохнув, кресло, секунду было тихо, потом раздался голосок Обрадовой: «Да прекратите же, мужчины, прекратите!». Дверь распахнулась, в зал ввалился Черепяхин, на полусогнутых ногах, к тому ж согнутый пополам. Охранник вел его, вывернув руку, как на дыбе, и сопел. За ними в зал вернулись Селезнюк, Охрипьева и Иванов, Обрадова и Некипелова. Вошел с ухмылкой Серебрянский.

– Пустите же его, – испуганно велел Мовчун. Охранник, чуть подумав, отпустил. – Ты, Черепахин, извини, но ему приказано никого из посторонних не пускать во время репетиции. Тем более ночью. А ты к тому ж не в форме и в пижаме.

– Я еще подумаю, – сказал с угрозой, выпрямляясь, Черепахин, – я, может, извиню, а может, нет.

Охранник, между тем, невозмутимо покинул зал.

– У нас работа, Черепахин... – с досадою начал Мовчун, но Черепахин перебил его:

– Какая, к свиньям, работа? Тут полные кранты, а ты – «работа»!

– Какие, к свиньям, могут быть кранты в два часа ночи? – не выдержал Мовчун. – Жена вернулась из Парамарибу?

– Не в два часа, а вечером еще, наверное, около девяти. Я телевизор не включал до десяти. Я новости обычно в десять вечера смотрю... Сказали: в конце первого отделения. Вот и считай: если спектакль начался в семь, то, думаю, что где-то около девяти...

– Эй, Черепахин, что тебе приснилось?

– Короче, так, – ответил Черепахин, – духи с оружием и бомбами захватили весь спектакль: все здание, артистов, зрителей, а там их тыща... Грозят поубивать, если не уйдем из Чечни.

– Какой спектакль?

– Сейчас скажу. «Зюйд-Вест».

– «Норд-Ост», – со сцены подсказал Линяев, и Брумберг выговорила, охнув:

– Серафима.

– Ты дашь мобильник? – не сразу попросил Мовчун у Черепахина.

Тот отмахнулся:

– Он у меня сел: я, пока ехал, всех обзванивал.

– Ты отвезешь меня в Москву?

– Как можно? Я же пьяный!.. Да и чего тебе – в Москву?

Мовчун, не отозвавшись, вышел вон.

– У него жена там, на спектакле, – объяснила Брумберг Черепахину.

– Разве Егор женат? – удивился Шабашов.

– Можно подумать, вы не знали, – сказала Брумберг. – Мовчун женат на Серафиме.

– Они, конечно, не расписаны и не афишируют, – вставил Шамаев, – но не хотел бы я сейчас быть на его месте.

Маша заплакала. Тиша подумал и спросил:

– Скажите, Черепахин, вы не лопухнулись? Быть может, вы, поддав, включили там какой-то сериал?

... Навек уйти из павильона, так; но прежде надо бы унять тахикардию, избавиться от онемения едва ль не в каждой мышце; потом решить, куда уйти и как жить дальше... Забывшись меж холстов и досок в крошечной тьме кармана для хранения декораций, он, тем не менее, не пил валокордин – докуривал остатки «Примы»; и даже едкий ее дым не мог перебороть угрюмый запах пыли и засохшей краски. Ну, вот и все, ну, вот и все, твердил себе, едва ль не напевая, Шабашов, и это заунывное «ну, вот и все», к чему, не очень ясно было, относилось. Да, к жизни, – но к своей или к юной жизни Серафимы, он устыдился б самого себя спросить. И, чтоб не спрашивать, он оборвал свое мужское причитание и обратился мысленно к несчастному сейчас, а все ж счастливицу, к Мовчуну: «Что ты ей дал, кроме работы на тебя? Пустил раз в жизни поразвлечься – я б разве отпустил ее одну? Да будь я режиссером – я б отменил ко всем чертям любую репетицию и, пусть она идет с подругой, пошел бы третьим, вместе бы пошел... Да знал бы я, что встречу в жизни Фимочку, я б непременно выучился на режиссера, и вот сейчас ее рука была б в моей руке. Я был бы с ней сейчас, и ей, я знаю, было б легче каждый жуткий миг от мысли: рядом я, ее любимый человек, ее мужчина, черт меня дер! Я б

точно знал, что ей сказать, как обнадежить, как утешить. Я бы нашел слова. Я бы нашел, как на нее смотреть, как ее руку, пожимая чуть, держать в своей – да, так уверенно и ласково держать, чтобы она могла немного успокоиться и, может быть, даже заснуть... Подруга! Про подругу я забыл; нехорошо. Я бы нашел слова и для подруги», – мечтательная мысль тут разыгралась так, что Шабашову стало ярко в темноте и сразу же неловко, стыдно стало; он затаился глубже сигаретой, потрогал недовольно пульс и строго осадил себя: «Другое дело, я, конечно, старый человек. И – да, не невозможно храбрый. Страх ни при чем, я думал бы не о себе, я свое пожил, но от волнения за Фимочку мой организм, конечно, мог бы дать и сбой. Он здесь, вдали от Фимочки, и то дал сбой: моя тахикардия не стихает, все мускулы мои, как вата, и, нате вам, теперь еще и давит горло изнутри... Да, надобно быть честным: сил моих на Фиму и подругу, возможно, не хватило б. Прихватит сердце – что б тогда там делала со мною Фимочка? Просила бы убийц, чтобы они порылись в патронташах и раздобыли для меня, беспомощного старика, таблетку нитроглицерина?.. Я был бы счастлив оказаться с ней сейчас – но хуже нет судьбы, чем оказаться для нее сейчас еще одним кошмаром. Выходит, для нее я всюду лишний: и в этой жизни, и в другой, которая, мечтай о ней я – не мечтай, но не случилась...». Тяжелый кашель вынудил его согнуться пополам. С трудом уняв его, он выпрямился, погасил вслепую ногтем сигарету и затоптал упавшие на доски пола искры. Раздвинул пыльные холсты и вышел из кармана.

Ему вдруг вспомнилось, что он по возрасту в театре самый старший, Мовчун ему годится в сыновья, и это, видимо, обязывает сказать ему отечески слова надежды. Он шел сквозь зал искать исчезнувшего Мовчуна, не в силах сам себе признаться, что Мовчуну он точно ни к чему. Его тянуло к Мовчуну, поскольку Мовчуна любила Серафима, и потому ему никто сейчас на свете не был ближе, чем Мовчун.

Оставив за своей спиной без всякого внимания нервическую перебранку Брумберг с Серебрянским («Бомбить их надо было сразу всех – ковровыми, Татьяна, именно ковровыми!» – «Ты думай, что ты произносишь! Думай». – «А я не думаю; я знаю; я служил! Ковровыми, Танюш, и сверху чем-нибудь присыпать!») и вторящий их вздорным голосам храп спящего на стульях Черепахина, – протиснувшись меж креслами сквозь скопище актеров, что-то шепчущих, но больше слушающих, что им шепчет Тиша Балтин, – Шабашов направился из зала прочь, в фойе. Мовчун был там, сидел в высоком кресле, в самом углу, и рядом с ним сидела, держа его в молчании под локоть, зав. литчастью Маша. Шабашов направился к Мовчуну. Маша сразу же вспорхнула и, всхлипнув, поспешила в зал. Во тьме фойе лицо Мовчуна не было видно, лишь дальний отсвет лампы на столе охранника, как при проявке фотографии, выхватывал отдельные, тяжелые и резкие черты его лица. Не зная, что еще сказать, с чего начать, Шабашов сел в то же кресло, где сидела Маша, и, повздыхав, спросил:

– Откуда этот тип в пижаме, Черепахин?

– Приблудный, – отозвался Мовчун. – Потенциальный меценат, как он себя все время аттестует, да врет, я думаю. Ему бы лишь бы пообщаться. У него особняк за железной дорогой, но ему там скучно. Там нет клуба, нет ресторана, вороны только, галки да охрана. А здесь – актеры, жизнь...

– Пожалуй...

– Я знаю, Дед, вы называете меня «метрдетель», – заговорил Мовчун, не поворачиваясь к Шабашову, но страстно, как о самом важном в этот миг, – еще смеетесь над моей привычкой в этом слове проглатывать звук «д». Мне донесли, вы можете не отпираться... Я в детстве сильно заикался – и каждый приступ начинался при попытке произнести звук «д». Потом прошло – остался страх перед звуком «д». Чтоб внятно из себя его извлечь, мне всякий раз нужно усилие, и потому всем кажется, что у меня хронический насморк. Такая аномалия. Из-за нее мне путь в актеры был закрыт. Пришлось стать режиссером. Несчастье, согласитесь.

– Пожалуй, – сконфузился и даже от растерянности хмыкнул Шабашов.

Мовчун продолжил, словно и не слышал:

– Я дорого бы дал за то, чтоб быть сейчас метрдотелем в классном ресторане. И чтобы все вы были там. Тепло, уютно, все спокойны, еда, хорошее вино. Свечи на столиках, и музыка звучит – негромко и не нагло. Снаружи холодно и нервно, как всегда, но там, у входа, – настоящая охрана и подозрительных не пустит: а нету, говорит, свободных столиков. И мне не нужно думать ни о чем, кроме того, чтоб каждый из вас был на своем месте. От вас не требовалось бы ничего иного, кроме как быть на месте. Еще и аккуратность, вот и все. Будь я сейчас метрдотель, мы бы не знали горя... Есть одна вещь, которую, Дед, вы не поймете. Если из жизни вынуть Серафиму, что без нее во мне останется? А ничего, одна лишь шелуха.

– Да и во мне, – похолодев от смелости, решил признаться Шабашов.

– Вот-вот! – не слушая его, одним лишь краем уха слыша, обрадованно подхватил Мовчун. – Во мне, и в вас, да и во всех, кто там сейчас базарит в зале, еще того не понимая, что поняли мы с вами. Все, все здесь без нее одна лишь шелуха, папье-маше под гримом... Будь я метрдотель, я б ни за что ее не отпустил – в хорошем ресторане не отпросишься. Там все должно быть строго. Будь я метрдотель, она была б жива.

– Она жива!

– Ах, Дед, поймите: шансов нет! Как это тошно, Дед, если б вы знали: слепо надеяться, но зряче понимать, что шансов нет... Вы там хоть раз бывали? Я про Дворец культуры этого завода говорю.

– Не приходилось.

– Я бывал. Еще студентом я там подрабатывал на елках. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты...» Там, Дед, не то что самолет – аэродром поместится. Там одним махом – не прихлопнешь. Если повсюду бомбы, если рука на кнопке – кто там успеет помешать?.. Их, Дед, не остановишь.

– Наверное, ведут переговоры, – заметил Шабашов.

– Они ж не денег требуют!.. С тем же успехом можно требовать, чтобы зимой не падал снег! Ах, дело даже и не в этом. Вы можете назвать мне двух, хотя бы двух людей в России, которые, окрысая друг на друга, могли б договориться? И без подлянки, не нагадив, разойтись? Тем более людей вооруженных. Тем более – путивших крови друг у друга. Не знаю, Дед, как вы, а я таких людей в отечестве не знаю.

– Да отчего ж? Должны же быть такие люди, – смутился Шабашов. – Мне кажется сейчас, что я таких людей встречал.

– Вот как? – сказал Мовчун и поднялся из кресла. – Идемте репетировать. Другого нам не остается – уж сколько нас в нас ни осталось.

– И все-таки, Егор, вы верьте, не сдавайтесь, – сказал ему вдогонку Шабашов. – Всегда есть третий вариант.

– Какой же? – обернулся на ходу Мовчун.

– Не знаю, и никто не может знать, – уверенно ответил Шабашов. – На то, Егор, и третий вариант, что предсказать его нельзя.

В чужом пальто поверх пижамы сидел в седьмом ряду, посередине, Черепяхин, дрожал, не в силах отогреться, и тщетно ждал, когда уймется препирательство и наконец начнется творчество. А препираться стали сразу, как только, разбудив его своим унылым и, будто филин, ухающим голосом, пришел Мовчун и предложил продолжить репетицию. Актриса, что учила роль Невесты, едва лишь была вызвана на сцену, сразу принялась кричать, что текст – поганый и что ей стыдно вслух произносить такой поганый текст.

– Где, покажите, где – поганый? – взвился, взлетев на сцену, драматург и выхватил из рук актрисы экземпляр.

– Где, точно не скажу, но помню, что поганый.

– Да просто вы не выучили текст, – пролепетал, страдая, драматург и обратился с авансцены к Мовчуну: – Егор, она не выучила текст!

Мовчун молчал, и это, чувствовал продрогший Черепахин, всех их подстегивает, и всех несет вразнос. Укутавшись поглуше в полупальто из стертой каракульчи, которое дала ему артистка Брумберг (ему неловко сразу стало, что он такой артистки и не помнит), он ждал: Мовчун позволит всем им наораться и, только выдохнутая, сразу всех построит, и каждый вспомнит о работе, но Мовчун молчал, и вот уж Селезнюк (его-то Черепахин помнил – по фильму «Ты отвянь, браток...») вдруг возопил – не басом, как это с ним бывало на экране, но тонким, жестким стеклорезом-голоском:

– Вы, Тиша, лучше к нам не лезьте, кто тут что выучил, а кто чего не выучил! Я бы вообще на вашем месте Невесту сделал сиротой, зато оставил бы в живых! Тогда б Невеста получилась бы не сука, как у вас, а всех бы, кто пришел на свадьбу, полюбила как свою новую семью и будущих друзей! Все б утонули, а она бы всех могла оплакать на волнах!

– И это говорит Боб Селезнюк, кому доверено исполнить роль отца Невесты? – расхохотался Серебрянский, своей косичкой и лицом знакомый Черепахину по телешоу «На про-свет». – Ты хоть одной извилиной подумай: если Невеста – сирота, то ты у нас – без роли.

– Я-то подумал; я, в отличие от тех, которым уж давно по барабану, какую роль играть: вы только им подайте роль, любую роль, – внимательно читаю роли. И лучше б мне остаться здесь без роли, чем этой, я скажу, ненужной ролью испортить, – тут я с Леночкой Охрипьевой не соглашусь, талантливую пьесу... Егор, вы слышите, я в принципе готов и вовсе не играть, но пьесу нужно переделать. Невесту нужно срочно сделать сиротой.

– Боб, помолчите! – сорвалась обычно тихая заведующая литературной частью Маша. – Иначе я вас, может быть, вдруг стукну, и сиротами станут ваши дети.

– Я понимаю ваши отношения, но мы здесь не о личном говорим, – презрительно произнесла Охрипьева со сцены, – и никого не задеваем; мы решаем здесь рабочие вопросы, и вам неплохо б вспомнить о работе.

– Какие отношения? – перепугалась Маша.

– Должно быть, ваши, – подсказал ей Селезнюк, – с нашим уважаемым автором, и мои дети, извините, Маша, совершенно ни при чем.

– Егор! – воззвал со сцены Тиша Балтин. – Ты хочешь, чтоб я здесь умом попятился?

– Была б здесь Серафима, она бы сразу пресекла это бардак, – негромко, но и так, чтоб все услышали, сказал вдруг Черепахину Шамаев.

– В том-то и дело, – поддержал его Линяев.

Мовчун молчал. Сидел, ссутулившись, пожевывая нижнюю губу, и все теперь молчали. Только Обрадова и Некипелова, сидевшие бок о бок в заднем ряду с краю, без остановки что-то быстро бормотали, прикрыв глаза и чуть раскачиваясь в такт бормотанию.

Черепахин встал с кресла и сказал:

– Все слушайте меня. Во-первых, здесь совсем не топят, и это просто невозможно. А во-вторых, уже четыре часа утра... Идемте все ко мне. Точнее, так: я женщин погружу в машину, все прочие – пешком; недалеко. Не знаю, что на это скажет режиссер, но я скажу: коль дело нервное, то лучше нервничать в тепле. У вас, я погляжу, здесь даже нету телевизора!

Мовчун поднялся, вытер рукавом губу, проговорил:

– Пошли.

Когда все подались на выход, немой охранник проводил их сонным, равнодушным взглядом. Умолкнув, перед ними расступились пятеро парней в таком же, как и у него, камуфляже. Затем продолжили свой тихий разговор, вновь сбившись кучкой на крыльце.

Прошелестев светящейся змеей перед глазами Черепяхина, пассажирский поезд освободил пути. Черепяхин миновал переезд. Не слушая просьб сдавленных друг другом женщин убавить жар печи и звук динамиков, погнался, как если бы гнал по автобану, вдогонку свету своих фар, по тесной и извилистой аллее, легонько тормознув лишь раз, когда навстречу выскочила кошка и, ослепив его мгновенной галогенной вспышкой глаз, исчезла прочь с дороги. Возле шлагбаума, на въезде в свой поселок, он долго без толку сигналил. Никто не отозвался. Он вынужден был выйти из машины и сам поднять шлагбаум. Заглянул в будку охраны. Там горел свет, но было пусто. Сказав: «Пора их всех уволить», – вновь сел в машину и заскучал под музыку в пятнадцатиминутном ожидании пешеходов. Как только очертания их проявились в темноте аллеи, он тронул с места грохочущую «Мамбой № 5» «акуру», уже на первой скорости прополз по узкому проезду меж темных и пустых громад и встал возле подвоя крепостной пятиэтажной башни, вверху которой, под крытыми черепицей кирпичными зубцами, горело лишь одно окно.

– Никита! – выйдя, крикнул Черепяхин, и вновь никто не отозвался. – Ну и дела, – сказал он озадаченно гостям, трезвея и не слишком ловко отпирая дверь: – Охрана разбежалась.

Вошел, пошарил пальцами по притолоке, и сразу вспыхнуло повсюду электричество. Повел наверх, на каждом повороте отдыхая, одышливо прося прощения за крутизну лестницы, за голь стен, за неудобное зияние зал, почти пустых – какие-то лежанки с табуретками смотрелись в них как бросовые, и оттого весь дом глядел чуланом:

– Все некогда обставить толком, по-человечески украсить... Вы не поверите: три года строил, строил, строил; а как построился, с гостями начал приезжать – мы внутрь вообще не заходили. На газончике водки попьем, шашлык сожрем – и по машинам... Всю жизнь по коммуналкам да общагам; мечтал о вилле – а куда мне виллу? Что мне делать с виллой? Я в курительной живу.

Диваны, кресла и кровать в курительной, составленные так, что между ними было не протиснуться, вмиг были заняты гостями; Тиша спросил про Интернет; Черепяхин включил попеременно компьютер, телевизор и электрочайник; Тиша приник к монитору; Мовчун подался к телефону и, краем глаза глядя на экран, стал набирать номер собственной квартиры.

– Вы все-таки позвоните домой: вдруг Серафима Сергеевна опоздала на спектакль или раздумала идти, – подсказал ему Шабашов, оглядывая помимо своей воли ряды бутылок в баре, – это бывает; я знаю много таких примеров.

– Я так и делаю, – зло процедил Мовчун.

– Да тише вы все, тише! – заволновались женщины. – Или включите громче телевизор.

Квартира Мовчуна не отвечала. Заложница Школьникова просила во спасение людей выполнить требования террористов, дать им гарантии безопасности. Часы Мовчуна показывали четыре часа тридцать семь минут. Он вертел, раздумывая, трубку в руках.

– Вы позвоните ей еще, вдруг она все же дома, только спит, – опять встрял Шабашов, – в такое время сон глубок – и не добудишься.

– Дед, выпейте, если хотите выпить. Если хозяин вам позволит, – как мог спокойно отозвался Мовчун. – Я – разрешаю.

– А я не собираюсь пить, – ответил Шабашов с обидой.

Черепяхин, спохватившись, открыл со стуком створки бара, стал разливать напитки по стаканам.

Квартира Мовчуна не отвечала. Он знал, что нужно сейчас сделать, но ему страшно стало это сделать, как страшно было бы самому вдруг оказаться под прицелом автомата... Он держал палец на рычажке телефона до тех пор, пока иной, совсем нелепый страх не пересилил – ему вдруг стало страшно, что снова встрянет Шабашов – вслух посоветует именно это непременно и немедленно сделать... И, весь заныв внутри, Мовчун набрал, касаясь кнопок так, словно они могли обжечь, одиннадцать привычных цифр – номер мобильного Серафимы.

Там поначалу было тихо. На экране странно освещенное и окруженное тенями здание ДК завода шарикоподшипников сменилось вдруг телеведущей, напомнившей, что полчаса назад президент отменил свою поездку в Германию и Португалию. Мовчун прислушался к телеведущей, собравшейся повторить новости последних часов, но в ухо ему вдруг отчетливый и мерный женский голос произнес:

– Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позже...

Мовчун не понял. Он с изумлением глядел в лицо телеведущей, на малый миг решив: это она ему сказала «недоступен»; но нет, она лишь продолжала говорить о том, что в половине четвертого утра террористы освободили пятнадцать детей и что готовится эвакуация жителей соседних домов... Мовчун опять, уже смелее и нетерпеливее, набрал знакомые одиннадцать цифр. И вновь – молчание вначале, затем раздался женский голос:

– Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте позвонить позже...

Мовчун нажал повтор набора номера, но передумал, предположив, что мог и ошибиться при наборе – и вновь старательно, за цифрой цифру, вызвал мобильник Серафимы. И вновь – молчание вначале, на этот раз, как показалось Мовчуну, необычайно долгое. Пережидая его, Мовчун прислушивался к звяканью бутылок о стаканы, к таинственному бормотанию Обрадовой и Некипеловой, забившихся в обнимку в уголок дивана, и считывал с экрана, на фоне странно освещенного захваченного здания, бегущую строку: для помощи родственникам заложников действует пункт психологической реабилитации...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.